

Михаэль Цин

Диалог с Богом

Издательство

«Jerusalem of My Heart»

Иерусалим, Израиль

2006

Михаэль Цин

Диалог с Богом

Иерусалим: Jerusalem of My Heart

© Copyright 2006 by Jerusalem of My Heart, Jerusalem, Israel

СОДЕРЖАНИЕ

О ЧЕМ ЭТО Я?	7
Лена	8
Псалом 102:15-22	13
Дима	14
Вторая Книга Царств 18-19	20
Игорек	22
Четвертая книга царств 21	27
Вторая книга Паралипоменон 32	29
Коля	30
Книга Екклезиаста	35
Толк	36
Вторая книга царств 12	42
Синди	44
Послание к Галатам 5	49
Нафан	50
Книга Иова	55
Сережа	58
Евангелие от Иоанна 14	65
Витюша	66
Екклезиаст 12	73
Менахем	74
Плач Иеремии 5	79
Виктор	81
Книга пророка Ионы 1	90
Сапфира	91
Евангелие от Луки 23	98
Генрих	99
Послание к Ефесянам 2	106
Джон	107
Псалом 148. [Аллилуия.]	115
Лиля	116
Псалом 2	121
Любовь первая	122
Бытие 2	125
Любовь последняя	126
Наташа	132
Песнь Песней 6:4-10	133
Песнь Песней 4:16	134



Я сидел на балконе гостиничного номера и смотрел на зеркало Мертвого моря. Ни о чем особенно не думалось. Просто сидел и, скорее, отгонял от себя мысли. О том, что надо сделать срочно и не очень. Отгонял, в целом, весьма успешно. И лишь одна, особенно изворотливая, постоянно исхитрялась как-то нарушить всю эту идиллию. Вчера я встретил человека. Мы говорили. Потом спорили. Спор был какой-то странный. Он ничего не утверждал, все время спрашивал. Но в вопросах уже были все ответы. Было похоже, что и задавал он их с одной целью – сказать, что я – не такой, как ты. А точнее, я – лучше, праведнее, правильнее. Этот моно-диалог закончился ничем. Каждый остался при своем. Но вот тяжесть на душе осталась. Я думал, она уйдет. Но нет, то и дело в мысли врезались предполагаемые возражения, и образ собеседника стал приобретать назойливые и раздражающие очертания. С чего бы я так? Ведь это не первый раз. Да и, наверное, не в последний. Я прислушался к себе, пытаюсь понять и забыть. Первое удалось. А вот второе – не очень.

Прошло еще немало времени, пока я как-то успокоился. И тут мне позвонил приятель. На этот раз из тех, которые умеют слушать. Он никогда и ни во что не верил. Один из людей, которые настолько невысокого мнения о себе, что готовы слушать собеседника. И я, вот так, взял и рассказал ему о своем. Это было неумно. Неправильно. И, наверное, даже, несправедливо – нагружать человека другой жизнью. Да и что он мог знать о богословии, греческих текстах и прочих предметах моих тревог. Неожиданно он улыбнулся (бывает так, что вы слышите улыбку на том конце провода) и поведал (именно поведал, а не рассказал) незамысловатую притчу. Весь ее тон был немного извиняющимся, мол, не претендую ни на что, но послушай, а вдруг.

Умер человек. Грешник. Как и все. И первой, кого он встретил Там, была собака. Она погибла самой простой собачьей смертью, под колесами какого-то праведника, много лет назад. Тогда он долго горевал, но ведь собака только, и отошло со временем. А теперь обрадовался. Место новое, а тут друг. Многого не расскажет, зато и перебивать не станет. Одно слово – друг. Идут они полем. И вот перед ними ворота. Красивые, наверное, даже золотые, хотя причем уж теперь золото. А на воротах стража. Суровая. Мол, куда и зачем. Не знаю, если честно, вот оказался Здесь, идти куда-то же надо, вот и пришли, а что? С собаками нельзя. Ну, я один не пойду. Твое дело. Повернулись – и в другую сторону. Куда? Оттуда. Ведь Где – неизвестно. Идут, на этот раз полем (а может, лесом – хотя, какая теперь разница). А вот и калитка. Неказистая такая, словом, не золотая. Но и там стража. Пустите? Проходите. А то, что я с собакой? Ничего, к нам можно. Ну спасибо. Кстати, а вы не знаете, что это за место, куда я так и не попал? С золотыми воротами? С золотыми. А-а, это – ад. А у вас что, рай. Да, у нас рай, мы пропускаем всех, которые не бросают своих друзей.

Мой приятель остановился, видимо ждал, как яотреагирую, сам себе не доверяя, что сказал что-то нужное, в нужное время. На этот раз улыбнулся я. То ли от собственной глупости, то ли от радости. Горечи больше не было. Мое богословие где-то спряталось и съежилось. Горечь сменилась покоем. Я понял что-то важное. Что именно, я так и не понял. Но теперь это уже не имело значения. Я мог смотреть на все то же Мертвое море, и ничто уже не портило мне настроения. Можно было начинать писать.

О ЧЕМ ЭТО Я?

Эта маленькая книжка – вовсе не назидание. И даже не предмет спора с самим собой. Так, мысли и память вслух. Хотя, может, это вовсе и не мои мысли. Пойди разберись.

Уже много лет, как каждую субботу я иду к людям, хорошим и не очень. Все они говорят, что Веруют. Верю ли я им? Это неважно. Гораздо важнее, чтобы им поверил Бог. А поскольку я, слава Богу, не Бог, то моя задача не в том, чтобы раздавать пригласительные билеты в вечность, а чтобы напоминать, что эта вечность существует. Напоминание это не сводится к простой констатации, поэтому я призываю людей любить друг друга такими, какие мы есть. Помогать тем, которые просят помощи. И не лезть со своим уставом в чужой монастырь, ведь по большей части чужая жизнь – это вовсе не монастырь, и даже не церковь. Чужая жизнь – это, прежде всего, жизнь не своя. А значит, универсальные духовные пластыри помогают здесь так, как нож хирурга плохому настроению. Я просто читаю Библию. И вслух предлагаю то, что из нее понимаю. В надежде, что кому-нибудь пригодится. И может, совсем не так, как мне кажется. Вот поднимет человек колесо на дороге и сделает из него кадку для цветов. Или отдаст ребенку поплавать. А может, пройдет мимо – вещь, мол, хорошая, но абсолютно ненужная. Мне никогда наперед не угадать. И моя правая рука никогда так и не узнает, что сделает чужая левая.

Лена

Она никогда не видела своего мужа. Она читала ему стихи, а он играл на скрипке. Она была слепа. Не от рождения, что было бы, пожалуй, более справедливо и менее мучительно. Она помнила, как выглядят люди. Красивые и нет. Она знала, что апельсин оранжевого цвета и могла живо представить, как смычок касается струн. Она еще могла вспомнить, как выглядит улыбка, как отражается в воде солнце и как выглядит исписанный ею лист бумаги. А вот Иерусалим оставался для нее загадкой. Она приехала в него, когда все образы уже были в прошлом, и теперь их заменили звуки и запахи. Она никогда не горевала, по крайней мере, этого никто не видел. Руки заменили ей глаза. Большие руки, всегда открытые вопросительно и жадно. Иерусалим был слишком велик, чтобы его обнять или пощупать. Она верила рассказам о нем. И вера тоже стала ее глазами.

Она ослепла, когда ей было двадцать пять лет. Ослепла как-то внезапно и глупо. Жизнь развалилась. Умерли родные. Кто-то сошел с ума. Не стало собаки. Люди продолжали видеть и потому перестали ее замечать. Она была слишком неудобна, как укор совести. От нее отводили глаза, чтобы не сочувствовать неискренне, а на искренность у людей просто не было сил. Они были заняты семьей, карьерой и выживанием. Ей помогали, но скорее потому что так принято. И она принимала эту помощь. А потом ей и всем вокруг это надоело. И они забыли про нее, а она про них. Нужно было жить. Правда, для начала ей предстояло решить, нужно ли. Сомнений было много. Пришлось выслушать все «за» и «против»

внутренних монологов и горячие речи внешних. Долго ли коротко, она решила жить.

А потом появился муж. Он много плакал, глядя на нее. Он видел. А она не видела его слез и радовалась. У слепоты тоже есть свои преимущества. Они ехали за город, и он аккомпанировал птицам и ее стихам. Концерт для скрипки, жены и птицы. Слушателей не было. Лишь Господь Бог внимал и, наверное, радостно улыбался. Красоту лучше наблюдать в полной темноте. Ведь тогда ее можно и украсить и додумать.

А потом к ним наведалься Бог. Нет, он не вламывался, не делал властных замечаний и не упрекал в неблагодарности. Просто зашел и стал слушать. Они еще не молились. Они и не видели гостя. Просто насторожились от присутствия кого-то третьего. Было и тревожно (ведь кто-то рядом) и вопросительно. Началась жизнь в ожидании чуда. Чудо не всегда сопровождается радостью. Оттого и тревога. Все больше они говорили между собой, учитывая этого третьего. Впрочем, не надеялись вовлечь его в беседу. Им двоим нужен был слушатель, а не советчик. Они просто боялись, что совет будет не тот. Сиди и слушай.

(С годами я и сам научился слушать. Ну, так мне кажется. Теперь я знаю, что нет ничего лучше, чем дать человеку высказаться. Моисей на Синае и Иисус в Галилее предпочли бы молчать и слушать более, нежели говорить. Но такая радость дана лишь тем, кто уже сказал, все что мог и должен. Кто уже заплатил.)

И когда они уже тоже сказали все, что было можно, и даже, краснея, кое-что из того, что нельзя, возникла пауза. Люди, как правило, заполняют ее

предложением попить чаю или анекдотами, которые лишь усугубляют неловкость. Они разом замолчали и стали ждать. Молчание затянулось. У гостя было время. А потом он поднялся, явно намереваясь уйти. Мол, спасибо, все было очень здорово. Ушел, и без него стало пусто. Они позвали, и он вернулся. И уже никогда не уходил. Наверное, это и было покаянием – понимание того, что без него никак. Я даже не уверен, что они облекли его в слова. Этому третьему слова были не нужны. Как, впрочем, и ее возможность видеть. Он знал, что зрячие не менее слепы, чем слепые. Просто как-то по своему. Уже ближе к концу она сказала, что прозрела в тот день, когда ослепла. Ей виднее.

Они приехали жить в Израиль. Это было тяжело. Надо было научиться ходить по улицам, которые она не видела. А язык, на котором она писала свои стихи, не был похож на местный. Совсем не похож. Чтобы говорить, надо видеть. Слова ведь не пустышки. Они привязаны к земле и шрифту. Можно, и не видя, научиться издавать звуки. Даже делать это правильно. Но узнать язык... Впрочем, они все равно радовались. Она сказала, что видит солнце. И это было чистой правдой. Так и Павел, ослепнув, увидел и понял.

Каждое утро они ходили плавать, благо море было рядом. Она знала, что каждое утро туда приходят люди, чтобы послушать их и удивиться ее радости. Нет, она совсем не делилась своей радостью. Да и кто мог бы позавидовать ей. Она никогда не свидетельствовала о своих путях и откровениях. Она просто жила так, и ей не нужны были слова. К ним на берег приходили люди, чтобы коснуться чего-то другого и непонятного. Теперь наступила их очередь слушать.

Они любили приходить к нам в гости. Я открывал дверь, она узнавала меня и протягивала руку, почти всегда в правильном направлении – ведь она так и не научилась различать предметы. Потом она шла на кухню и начинала мыть посуду. А еще она здорово готовила, ездила на тандеме и заразительно смеялась. История ее жизни почти всегда повергала людей в плач и никогда в уныние.

Он стал пастором, а она ему помогала. Их любили. И все было хорошо.

Однажды я пригласил их поехать со мной в другую страну. Я до сих пор не могу себе представить, как можно проделать на машине тысячи километров, не переставая радоваться происходящему вокруг, и при этом ничего не видеть. Муж был ее глазами, и она доверяла этому своему внешнему зрению.

Мы приехали в небольшую церковь под вечер. Поели и спать. А утром оказались посреди людей, песнопений, молитв и знакомых слов. Лена ужасно нервничала. Она поправляла непривычную косынку на голове, та все время сползала, а зеркало, даже если бы оно и было под рукой, ничем бы не помогло. Оно ведь отражает только тогда, когда видишь. Лена выглядела беспомощной. Наверное, первый раз в жизни. И мне было от этого плохо. Беспомощность других – нам хлопоты. Кое-как утряслось, и косынка на голове укрепилась. Они вышли на сцену. Он играл. Она читала стихи. Делали они это сразу и вместе. Она говорила о своей жизни, а он продолжал играть. Зал слушал. Плакал. Не верил. Сочувствовал. И радовался. Свои проблемы вдруг показались мелкими. Это было чужое горе, которое приносит радость. Не злорадство из-за чужой боли, а радость, что в своей жизни могло быть все гораздо

хуже. И люди были благодарны за это. Радоваться с плачущими и даже плакать с ними гораздо легче и приятнее, чем радоваться с радующимися. Умение сострадать – великая добродетель. Умение сорадоваться – добродетель еще более редкая.

А потом к ней подошли люди, и каждый хотел к ней прикоснуться, как бы проверяя, живая ли она. Она была жива и радостна. Косынка съехала куда-то набок, обнажив неумело покрашенные пряди седых, постриженных волос. Откуда-то незаметно сбоку подошла женщина с праведным лицом. Бывают такие – елейные и образцовые. Печать страдания и несомнения. У нее не нашлось ничего, кроме упрека. Она просто не могла вынести чужой радости. Обделенная в своей жизни и страстно ищущая еще более обделенных, она решила, что пришел час и можно поправлять. Это нехорошо, что у вас короткая стрижка. Это плохо, что волосы ваши покрашены. Это не так, как написано в Книге. Ну, словом, грех... И ни слова про стихи, музыку...

Лена плакала. Не потому, что ее не поняли, а потому, что поняла ту, другую. И ей стало ее безумно жаль. Жаль зрячую, но так и не прозревшую. Научившуюся смотреть, но не видящую ничего.

Лена умерла почти три года назад. Умерла в один день. Здесь потемнело. Там стало светлее.

Псалом 102:15-22

Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет.

Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,

и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.

Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.

Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинясь гласу слова Его;

благословите Господа, все вочинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;

благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!

Дима

Счастлиное детство – редкость. Не потому что мало детей, а потому что мало счастливых. Это уже потом, когда взрослые, они понимают, что были счастливы. Но в детстве все не так. И обычный каприз не отличает себя от большого горя. Проколотый мяч или «хочу куклу» – трагедия не меньшая, чем безответная любовь в восемнадцать. Благодарность к тем, кто дал жизнь и вырастил, приходит, если вообще приходит, слишком поздно. Часто бывает, что ее уже нельзя выразить. Люди не живут вечно.

У Димы тоже было детство. Сначала. И даже более того. Его папа был богатым и любящим и ни в чем (по крайней мере, так ему казалось) не отказывал своему первенцу. Быть богатым при Советской власти было опасно и подозрительно. Ребенку до этого не было дела. Он просто себе жил и воспринимал богатство как должное. Да и богатством он это не считал. Просто – это был его папа и его семья. И все было именно так, как должно было быть. А как же иначе. Сравнить и понимать – дело взрослых.

Папу арестовали внезапно. Дима не знал, что такое арест, но почувствовал это сразу. Почему-то у них отобрали все. И сразу. Не стало привычного хоч-получи, его перестали обнимать по вечерам, соседи стали улыбаться. Но без радости. Как бы невзначай, еще не веря своему счастью и безнаказанности, его стали обижать. Безответность радует и раздражает еще больше. Толкает на жестокость. Дима узнал, что бывает так, когда справедливость не торжествует, и есть вопросы, которые так и остаются без ответов.

Он шел с ними спать. Это было, как уснуть голодным. В сердце зажила тоска и злость. От прошлой жизни осталась маниакальная чистоплотность. Но это как бы по привычке. Просто так было всегда.

Суд, приговор, расстрел. Сначала это было даже романтично. Не у всех есть расстрелянный папа. Магия неизвестного, ореол непознанного, сомнительная слава исключительности. А потом – опять жизнь. Уже без папы. Не сразу он понял, что это навсегда. А когда понял, что-то оборвалось. Но не до конца. А так – висело на ниточке, да так и осталось висеть. Вроде есть, а вообще-то нету.

Мама –художник, все воспринмала философски. Но в один ужасный день наступила на обнаженный провод и умерла. Это было страшнее, чем с отцом. Тут не было мифов. Был страх и опять злость. Жалость? Для того чтобы жалеть, надо быть устроенным и довольным. А ему было самому плохо. И он невзлюбил. Сначала маму. Потом мир, где никого не осталось. И, наконец, отодвинулся. И таковым остался.

Квартиру отобрали. Пришел участковый, осмотрелся, склеил что-то с бумагами, вышвырнул его на улицу и зажил на освободившейся жилплощади. А через месяц суд отправил четырнадцатилетнего Диму на малолетку. Так в обиходе зовется тюрьма для малолетних преступников.

Когда Дима вернулся, то ли из жалости, то ли по инструкции дали какую-то три на три комнату. Живи. И помни.

Одно из неудобств этой жизни – надо кушать. Дима не был исключением. Но еды было взять неоткуда. Зарабатывать деньги в его совсем еще юном возрасте было не принято. Опять-таки, то

ли из жалости, то ли по инструкции. Жизнь же, не похожая на инструкции, научила его добывать себе пропитание тем, что считалось неправильным – Дима стал фарцовщиком. У правоохранительных органов для обозначения подобного рода деятельности было менее романтичное слово. На языке уголовно-процессуального кодекса оно называлось спекуляцией. Но Дима нуждался в еде. Инстинктивно. И начал зарабатывать. Ему, конечно, было далеко до своего папы. Однако на то, чтобы отличаться от других, ему хватало. Хотелось большего. Мешали страх и насмешки.

А вообще-то он был вполне успешным. Пил кофе в модном кафе. Одаривал девушек заграничными тряпками. Сам одевался только в модное. И мог себе позволить раз в год поехать на моря.

В армию он не пошел. Вовремя оценил сладость армейского бытия. Заплатил кому надо. Его признали полувменяемым (а кто из нас нет?), и он получил свободу от служения родине.

То ли от накопившейся горечи, то ли гены все-таки сослужили ему недоброе, но он действительно как-то стал не совсем в себе. Липовый диагноз оказался в действительности не таким уж далеким от истины. Он стал довольно частым гостем в психодиспансере. Ему это не мешало. Он со смехом рассказывал о своих врачах и похождениях. И стал писать стихи. Все мои друзья рано или поздно писали стихи. Он не был исключением. И сам стал считать себя поэтом.

Потом – несчастная любовь, какое-то подполье, сионизм, мания величия и отъезд в Израиль. Было это лет двадцать назад. Он исчез из нашей жизни. Время от времени до нас доходили неясные и

непроверенные слухи о его успехах и неудачах. Но никто этим особенно не интересовался. Он всегда был одиночкой. И поэтом.

Когда мы с женой решили уехать на Землю обетованную, он вновь неожиданно воскрес, позвонив нам домой за день до отъезда. А уже через несколько дней мы встретились с ним в Тель-авивском аэропорту, мы – зеленые иммигранты – и он – бывалый израильтянин. Там же меня встречала тетка, которой я никогда до этого в жизни не видел. Она долго уговаривала нас поехать к ней, что, наверное, было бы вполне разумно. Но ведь сама наша поездка была авантюрой, кто же будет слушать людей умудренных. И Диме удалось забрать нас с собой в Иерусалим. Все сразу стало на свои места. Достаточно было лишь одного взгляда на его квартиру. Перед нами был типичный неудачник. Мы ему были нужны гораздо больше, чем он нам. Он упросил нас остаться хотя бы на несколько дней. Из нежелания опять что-то решать мы согласились. Три дня обратились годами. Правда, это другая история.

Он отправил нас изучать иврит в школу, которая была на другом конце города. Это было очередным безумием. Но пока мы поняли что к чему, прошел месяц, и менять что-то было уже просто лень. Там же, в школе, мы познакомились с людьми, которые рассказали нам о жизни и смерти Иисуса. Там мы и приняли Его жизнь и смерть.

Эта чудесная часть прошла мимо Димы. Он продолжал заниматься непонятно чем. Мы все больше отдалялись друг от друга. Ему хотелось пафосности и значительности. Он заврался. Какое-то время мы еще виделись. Но и только.

А потом в страну приехала та его большая и неразделенная любовь. Он схватился за нее, как за последнюю надежду. Но, никогда так и достигнув величия расстрелянного папы, выглядел смешным и теперь уже жалким. Любовь отвернулась от него в очередной раз, и он остался совсем один. Он преследовал предмет своего вожделения. Молил. Угрожал. Сделал невыносимой жизнь не только ее, но и нашу. Короче, он смертельно всем надоел. Как-то утром вся в слезах она позвонила нам с просьбой спасти ее, поскольку он невменяем и угрожает, на этот раз вполне серьезно. Я был после ночной смены, уставший, невыспанный. Я побежал на эту встречу, исполненный ненависти ко всему, что мешало мне жить. И к ней, и к нему. Он стоял, поджидая ее, и очень удивился, увидев меня. Был очень тяжелый разговор. Я высказал ему все, что о нем думаю. Причем дал понять, что мое терпение может кончиться. Он поверил, причем настолько, что ушел, осыпая меня проклятиями и угрозами.

Месяц спустя, во время Пасхи, мы оказались в Гефсиманском саду. Там есть небольшая православная церковь. Пел хор. Горели свечи. Было невыносимо грустно и торжественно. И вдруг перед алтарем я увидел Диму. Он стоял со свечой в руках и смотрел закрытыми глазами вверх. Я подумал, что вот оно, наверное, воображает себя сейчас отверженным страдальцем. И почти Иисусом. Мания величия – ведь это болезнь. Толпа, нас оттеснили, мы возвращались домой, молились у Стены плача, в небе стояла необыкновенная израильская луна, все было по-неземному празднично, торжественно и древне.

Через несколько лет мы узнали, что он попал в тюрьму. Наркотики. Мы огорчились, хотя нам это показалось закономерным итогом.

Когда я его видел в последний раз, он стоял в центре города и возле него была собака. Судя по виду, он был безумен, нищ, но все так же чисто вымыт, как и в юности. Я подбежал к нему и протянул руку. Как живешь? Он отпрыгнул от меня в сторону и закричал, что никогда не подаст мне руки. Вот именно мне, не подаст. Ни за что. Кричал он очень громко. Я пожал плечами. И ушел. Мне было очень плохо.

Спустя несколько месяцев он умер. От передозировки. С ним никого не было, лишь собака безутешно выла три дня. Взломали дверь и похоронили.

Мне плохо и сегодня. В Гефсиманском саду все могло быть всерьез.

Вторая Книга Царств 18-19

И воскликнул Ахимаас и сказал царю: мир. И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя!

И сказал царь: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего; но я не знаю, что [там] было.

И сказал царь: отойди, стань здесь. Он отошел и стал.

Вот, пришел и Хусий [вслед за ним]. И сказал Хусий [царю]: добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя.

И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий: да будет с врагами господина моего царя и со всеми, злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока!

И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!

И сказали Иоаву: вот, царь плачет и рыдает об Авессаломе.

И обратилась победа того дня в плач для всего народа; ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне.

И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство.

А царь закрыл лице свое и громко взывал: сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой!

Игорек

Это был настоящий спортыга. Потрясающе здоровый и сильно пьющий. Он был известным теннисистом, настолько известным, что позволял себе раздавать автографы и пользоваться успехом у девушек. Не очень, впрочем, умных. Как бы то ни было, он был одной из достопримечательностей нашего города. И даже те, которые стеснялись его, нет-нет, иной раз все-таки упоминали, что знакомы с ним. Чужая слава, сколь бы сомнительной она не была, все же имеет свои привлекательные стороны. Особенно у тех, кто такой славой не обласкан. И надежды не имеет.

Но наибольшую известность у нас в городе ему снискали не спортивные успехи, а загульный его нрав, совершенно бездумный и не рассуждающий о последствиях.

Все это смачно переживалось на второй день после очередного загула, светская жизнь у нас имела свои особенности и явно хмельные очертания. Очередной разбор полетов, кто что помнил, картинно удивляясь очередному подвигу, рассказанному другими, поскольку сами герои походовений ничего на второй день не помнили.

Как-то во время очередной поездки за приключениями в Ленинград, вся компания усиленно парилась в сауне. Выдержали, сколько могли, и переместились в ресторан пить уже ненавистное шампанское. Деньги были шальные, никто не работал и не хотел. Жили, как получалось, и притворялись, что иначе не могут. Часа через два хватились Игорька. Его за столом не было. Обыскали

все. Тщетно. Никто ничего не видел и не слышал. И, наконец, в чьем-то уже изрядно воспаленном воображении возникла идея отправиться обратно в сауну и найти пропажу. Компания разразилась смехом. Человек не иголка и даже не веник для парилки. Но от нечего делать – сидеть в ресторане уже надоело, все отправились обратно в сауну. А там, на самой верхней полке, мирно похрапывал Игорек. Изумление наше Игорек воспринял с удивлением, и нам пришлось ему достаточно долго объяснять, что собственно произошло и что могло произойти. Город говорил потом об этом неделю.

А тем временем приближался полусухой андроповский закон, и неуверенность в том, что надо делать, сменилась неуверенностью в том, чего, может быть, делать не стоит. Все стали задумываться о жизни. Но только не наш герой. Вообще, он патологически не мог оставаться наедине с самим собой. Однажды разоткровенничавшись, он признался мне, что не в состоянии даже подумать, что человек может провести день без друзей и приятелей. Он жил среди тех, кто его окружал. Иначе не хотел и не представлял.

Меня это все порядком забавляло. Но было в нем нечто такое, что отличало его от других. Это была какая-то болезненная бескорыстность и щедрость. Однажды, когда мне по какому-то пустяку понадобились деньги, он, не раздумывая, снял с себя дорогую цепочку, отдал ее мне и тут же забыл. Он отдавал все, что у него было, любому, с кем пил или еще не начал. Но по-настоящему нездоровой эту щедрость делало его отношение к чужой собственности. Дело в том, что и к ней он относился, как к своей. Однажды в Ташкенте на больших соревнованиях я приехал обратно в гостиницу и обнаружил, что

Игорек продал все свои и мои вещи. Ему зачем-то срочно нужны были деньги, и он немедленно решил проблему. На этот раз за мой счет. Было в этом что-то чудовищное, но настоящее. Правда, происходить рядом с этим было невозможно.

Сколько веревочке ни виться, а мы жили все еще в Советском Союзе. То, что сегодня называется предпринимательством, тогда классифицировалось несколько иначе. И однажды я обнаружил свою свободу ограниченной стенами тюремной камеры. Я слышал, что незадолго до этого такая же участь постигла и Игорька. Мне до этого не было дела, у меня была своя жизнь, у него своя – в конце концов, мы взрослые люди. Я сидел и горевало своей несчастной и глупой судьбе. Незадолго до этого печального дня я пришел с официальным визитом к родителям своей будущей жены и известил их, что у меня серьезные намерения в отношении их дочери. Мы решили пожениться и даже, кажется, назначили день свадьбы. Я был всерьез влюблен. Вот так, первый раз в своей жизни. И тут все развалилось. Что впереди, совсем неизвестно, и даже прошлое уже не кажется таким реальным. Было ли? Но по-настоящему меня добило то, что человеком, помогшим мне оказаться на нарах, был... Игорек. Страшно было и то, что ему в этом не было никакого проку. Он сделал этот так же легко, как когда-то продал мои вещи. Не то чтобы он спал и видел, как посадить меня, просто, когда такая возможность представилась, он сделал это с совершенно чистой совестью. Похоже, он считал, что все сразу должны быть либо бедными, либо богатыми. Быть свободными – так всем, сидеть – так тоже за компанию. В этом и была его, в общем-то, беззлобная сущность. Одиночество было для него непереносимым. Даже виртуальное. Сопричастность

должна была быть всем и всему. Умом я это понимал. Но легче мне от этого не было. Все, чего я желал, – это когда-нибудь выбраться отсюда и добраться до него. А там... Тут мое воображение воистину не знало границ. Я распял себя ненавистью, она стала для меня каким-то стимулом. Источником адреналина и наркотиком. Недавно я познакомился с женщиной, крестным отцом которой бы Адольф Гитлер. Она, страдавшая всю жизнь от ненависти к себе и другим, научилась прощать только тогда, когда уверовала. Она поделилась со мной весьма очевидной истиной о необходимости прощать, используя при этом весьма живописное сравнение. Ненавидеть кого-то, сказала она, – это все равно что варить для своего врага яд и при этом постоянно пробовать его, готов ли.

Я прожил так три года, вернулся и женился. Но и потом все годы, возвращаясь в мыслях к этому досадно растянувшемуся эпизоду в моей жизни, я не мог простить. Трудно.

Я слышал здесь и там об очередных похождениях Игорька, о небылицах и правде. О том, что он разбогател, снова потерял все, о том, что он стал по-настоящему бандитствовать и снова оказывался где-то, то ли в тюрьме, то ли на пути к ней. Он переехал жить в Москву, где его натура была умножена на масштабы столицы. Я знал, что рано или поздно он кончит очень плохо. И если уж совсем честно, где-то в глубине своего сердца, не имел ничего против такой развязки.

Я уехал в Израиль и старался обо всем забыть. Моя жизнь была до краев теперь наполнена верой. К мыслям об Игорьке я возвращаться боялся. Если бы я обнаружил в сердце нелюбовь к нему, это нарушило бы мое представление о себе как новом человеке.

Однажды я оказался в Америке, куда меня попросили приехать с серией лекций. Ближе к ночи мне позвонила жена – она в это время гостила у своей матери в Украине. Если ты стоишь – сядь, сказала она. Я немного уже выучил свою жену. Если она начинает разговор таким образом, то, значит, случилось что-то невероятное, но напрямую нас не касающееся. И что же случилось? – это я. Ты помнишь Игорька? – это уже она. Ну еще бы мне не помнить, а что он сделал? Убил кого-то? – мой вопрос звучал без особенного энтузиазма. Совсем наоборот, – звенел голос моей жены, – он... уверовал!

Ни разу после своего уверования я не чувствовал себя столь счастливым. Сидел и плакал. Немолодой уже мужчина с бородой. Просто плакал. От радости.

Игорек все тот же, теперь он хочет, чтобы уверовали все. Одиночество в Царстве Небесном он себе представить не может.

Четвертая книга царств 21

Двенадцати лет был Манасся, когда воцарился, и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба.

И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых.

И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему.

И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: "в Иерусалиме положу имя Мое".

И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обочах дворах дома Господня, б и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его.

И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: "в доме сем и в Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век;

и не дам впредь выступить ноге Израильянина из земли, которую Я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что Я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб Мой Моисей".

Но они не послушались; и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.

И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал:

за то, что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех цолами своими,

за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того;

и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, - вытрут и опрокинут ее;

и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим,

за то, что они делали неугодное в очах Моих и прогневали Меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня.

Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех - делать неугодное в очах Господних...

Вторая книга Паралипоменон 32

...Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых.

И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали.

И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон.

И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и И помолчился Ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог.

Коля

Вот уж кому грех было жаловаться на жизнь. Все, чего Коля хотел, он достиг. И не потому, что ничего лучше не было. Просто каждый представляет себе жизненный успех в силу и меру того, кем он является. Для Коли, сына алкоголика и дворничихи, сияющие снегом вершины жизни не должны были изобиловать изощренным эстетством. Полуголодное детство определило для него предел мечтаний как яственное изобилие. Коля закончил торговый техникум и работал в маленьком магазинчике. Но, поскольку был весьма симпатичным юношей, некая дама в годах и с влиянием устроила его работать в главный московский гастроном, гастроном № 1. Ну, там, икра, балык и сырокопченая колбаса. Коля оказался весьма способным и нещепетильным. Где локтями, где просьбами, где взятками, но сбылась мечта – Коля стал директором крупнейшего московского храма еды. Денег теперь было очень много. Гораздо больше, чем Коля мог потратить без страха оказаться за решеткой. И он не шиковал. Жил скромно, насколько скромно он вообще мог себе позволить, оставаясь на этой должности. По-настоящему же он преображался, лишь оказавшись в подвалах своего гастронома. Уже гораздо позднее, когда он рассказывал о походах в свое подземелье, нельзя было не увлечься почти поэмами о бочках с жирной селедкой, об икорных россыпях, об осетровых и колбасных залежах.

Коля был счастлив. Жена взирала на него с почтением и любила, насколько могла. Да и он любил свою жену. Время от времени Коля не упускал возможности ей изменить, но сам он изменой это не считал, а как

говорил позднее: плоть своего требует. Себя же он мыслил человеком духовным. Видимо потому, что не был членом партии и два раза в жизни сходил в церковь поставить свечку.

Но локти и амбиции были не только у Коли. На него донесли. А может, просто попал под андроповские разборки. Так или иначе, Колю посадили. А поскольку к общественной собственности власти относились гораздо более предвзято, чем к личной, то Коле грозил срок лет эдак на 10. Это если повезет. В худшем же случае – все 15. Оставался еще самый нежелательный вариант, о котором думать не хотелось, – если процессу захотят придать показательный характер, не исключалась и высшая мера.

Даже в тюремной камере Коля берег свое здоровье. Он не курил, регулярно занимался физическими упражнениями и не давал себе раскиснуть. Он поддерживал ослабевших духом рассказами о верности своей жены и необходимости верить в то, что и жены других дождутся мужей. Не то что бы в это верили (примеров было хоть отбавляй), но его хотелось слушать, даже ценой самообмана. Любому человеку, тем более в обстоятельствах столь стесненных, необходима надежда.

Как-то раз Колю увели на допрос. Его не было часа три. Когда же он вернулся, то все заметили, что он стал как бы меньше ростом. Согнулся, что ли. В тюрьме не принято спрашивать, если сам не расскажешь. Коля лег на свои нары и отвернулся к стенке. Он ничего не ел в этот день. А наутро не делал своей привычной зарядки. Что-то случилось. Но мы настолько привыкли к вот этому «что-то случилось», что даже не выказывали своего любопытства. Да и собственная

беда делает человека маловосприимчивым к чужому горю. Это не совсем то же, что безразличие. А на практике – какая разница.

Было часов пять утра. Часов ни у кого не было – запрещалось внутренним распорядком. Но по жидкому свету в оконных щелях мы знали, что приближается время подъема. Коля потрогал меня за плечо и, даже не спрашивая, готов ли я его слушать, начал свой рассказ. Ничего радостного он мне не сообщил. Я хотел спать и слушал его, даже не прикидываясь для вежливости, что мне это интересно. О сочувствии речь вообще не шла. Да он ее и не искал. Короче, следователь обнаружил нечто такое, что разом зачеркнуло все его надежды на близкое и не очень будущее. Теперь в его жизни 15-летний приговор был бы благом – дело было взято на учет в ЦК партии. Из Коли должны были сделать козла отпущения и примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Он узнал, что его предали все, включая самых близких друзей и тех, кому он платил взятки. Дело росло, папки пухли, и вместе с этим исчезла надежда. Он говорил без надежды быть услышанным и тем более понятым. Просто иначе он просто бы уже умер. Так он мне и сказал.

Что я мог для него сделать? Утешить было нечем. Советов никто здесь не давал, да, собственно, никто в них и не нуждался. При всей видимости коллективного жития, тюрьма – это место коллективного одиночества. Каждый за себя и все против всех. Мой день был безнадежно испорчен дурным пробуждением. Весь день я даже не смотрел в его сторону. И совесть меня не мучила. Мне достаточно было своих проблем.

Шли дни и месяцы. Коля стал как-то услужливо-

вежливым. Это раздражало, но на него смотрели как на нежильца. И прощали. Внешне он даже успокоился. Может, смирился. В конце концов у него стала вырисовываться хоть какая-то определенность. И к ней надо было готовиться. Другие этим похвастаться не могли. Они продолжали надеяться. Коля же заслужил себе некое право суждений, по факту срока или вполне предсказуемого расстрела. Расследование по его делу близилось к завершению, был уже назначен день начала суда. Как правило, такие судебные процессы длятся месяцами, если не годами. Коля воспринимал это как некое развлечение. Но главное, на суде он сможет увидеть свою жену, которую к этому времени не видел уже два года.

За неделю до суда его снова вызвали на допрос, так всегда делали для соблюдения неких формальностей. Подписать бумаги и все такое. Он вернулся очень скоро. Вошел и сел на пороге. Он сидел буквально черного цвета и выл. Другого слова я подобрать не могу. Это был самый настоящий вой. Мы подтащили его к скамейке, дали воды. Коля выпил и прямо без перехода сообщил, что жена подала на развод. Все. У него теперь не осталось ничего. Ни в жизни, ни вне ее.

Во мне что-то зашевелилось. Хотелось что-то сказать, похлопать по плечу, наконец. Дождавшись того, что каждый вернулся к немудреным своим занятиям, я устроился напротив ничего не видящего Коли и стал ему рассказывать историю своей жизни. Ни тогда, ни сегодня я не понимаю, зачем я это сделал. Может быть, просто хотелось ободрить человека тем, что ему доверяют? Не знаю. Так или иначе, я рассказал Коле многое из того, что все знали и еще кое-

что из того, что не полагалось знать никому. Коля, казалось, не слушал. Только кивал и смотрел куда-то в сторону.

Через три месяца я узнал, что содержание этого монолога стало известно буквально дословно моему следователю, а значит, должно было отразиться на моем сроке. Коля не забыл ни одного слова.

Процесс по его делу начался в положенный срок. Коля все еще надеялся, что можно что-то поправить, хотя бы с женой. Но на суд она так и не пришла.

На третий день после начала процесса Коля связал всем нам известным способом простыню, накинул ее себе на шею, привязал к ногам и распрямил их в этом своем последнем физическом упражнении. Он удавился у всех на глазах, и никто не остановил его. Каждый ведь хозяин своей жизни.

Процесс продолжался уже в отсутствие Коли, ведь обвиняемых было много. Власть поменялась на горбачевскую. Энтузиазм у судей пропал. Статью обвиняемым поменяли, и все они вышли домой прямо из зала суда.

Сейчас Коля, наверное, был бы уже банкиром. Или депутатом. Опять же с семьей все было бы в порядке. Но поздно.

Книга Екклесиаста

Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - всё суета!

Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он Род
проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.

Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где
оно восходит.

Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу
своем, и возвращается ветер на круги свои.

Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту,
откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.

Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не
насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было
уже в веках, бывших прежде нас.

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти
у тех, которые будут после.

Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; 13 и предал
я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью
все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам
человеческим, чтобы они упряжились в нем.

Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё - суета и
томление духа!

Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя
считать.

Толчок

На этот раз мне было совсем плохо. Уже несколько дней я не мог подняться с кровати. Я ничего не ел. За последние две недели я съел больше килограмма соды. Это единственное, что снимало боль на две-три минуты. Потом все начиналось сначала. Спать тоже не получалось. Посреди дня меня вытаскивали на обязательную прогулку, так наше начальство заботилось о моем здоровье. Когда, наконец, им это надоело, меня выкинули в карцер, где я провел три дня. Вспоминать об этом не хочется. Я точно знал, что больше недели мне уже не протянуть. Лежал и ждал. Мыслей уже почти не было. Ждал.

Меня внесли обратно полуживого и оставили как есть.

Дверь в камеру открылась, и ввели высокого парня. Сразу было видно, что он уже здесь давно. Мы знали это по повадкам. Этот был бывалым. Он скинул свой матрас рядом со мной. Потом подошел к закрытому окну (была зима) и попросил не курить. Подобная просьба может вызвать лишь одну реакцию – смех, переходящий в побои. В ответ он и получил первую и ожидаемую реакцию. Тогда новичок взял кружку и, ни слова не говоря, разбил сначала одно окно, а потом другое. И сел на свое место. Честно говоря, меня все это уже не занимало, но поскольку его койка была рядом с моей, то было ясно, что сейчас начнется поножовщина – последнее, что мне было сейчас надо. Так бы оно и было. Но вдруг кто-то из толпы, а нас было в комнате человек восемьдесят, шепнул: хорош, это Сом.

То ли кличка, то ли фамилия произвела моментальное действие. Толпа разошлась, а окна потом пришлось закладывать подушками.

Толик, так назвала его мама, между тем устроился и, глянув на меня, точно определил, что я не жилец. Задав пару вопросов и не получив вразумительных ответов, он отошел в сторону и спросил обо мне моих сокамерников. Те рассказали, что знали, упомянув несколько имен, знакомых им в связи со мной. В тюрьме есть своя табель о рангах. Она основана частично на том, что ты из себя представляешь, и на том, кого ты знаешь или кто знает тебя. Толик кивнул, подошел к двери и ударил по ней ногой. Потом еще раз, сопроводив нецензурной угрозой в адрес охранника. На удивление, дверь открылась, и Толик внятно объяснил охраннику, что с ним будет, если он немедленно не позаботится обо мне. Буквально через минут пять меня унесли в больницу.

Я провалялся там почти два месяца, но поправился настолько, что мог уже есть и ходить. Этого было достаточно, чтобы причислить меня к здоровым, и я оказался опять в своей камере рядом с Толиком.

Мы подружились. Насколько вообще можно говорить о дружбе в принудительном общежитии. Мы вместе ели, делились хлебом и скудным пайком. Скажу честно, Толик впечатлил меня. Никогда, ни до ни после, я не встречал человека, жизнь которого ни на йоту не отличалась от его слов. Я – умеренный идеалист. Или, может точнее, сдержанный скептик. Вот уже шестнадцать лет, как жизнь моя изменилась от тьмы к свету. Это шестнадцать лет хождения в вере. Господь подарил мне рождение свыше, и вместе с ним в мою жизнь вошли те, кто открыли мне глаза на то, что такое любовь, честь, сострадание.

Но все мы люди. И иногда желаемое не совпадает с действительным. Даже если намерения благи и чисты. Толик ангелом не был. Но поразительное совпадение сказанного и сделанного было в нем настолько точным, что оставляло след в жизни всех, с кем он соприкасался.

Он любил поэзию и хорошую музыку, невообразимо почтительно отзывался о женщинах, не терпел фальши и лжи, всегда был готов помочь слабому и не выносил бахвальства. Мама оставила его, когда ему исполнилось четыре года, он ее практически не помнил. А отец делал все, что мог, но мог он немного. В одиннадцать Толик оказался на улице, в четырнадцать в первый раз узнал вкус тюремной баланды. Сейчас ему было тридцать четыре. И за последние двадцать лет на свободе он провел в общей сложности три года. Его, наверное, можно было назвать волком-одиночкой. Он ни к чему в этой жизни не был привязан и знал, что там, где он обитал, можно выжить, лишь будучи сильнее и злее. Но когда он смеялся, то смех выдавал в нем ребенка, который не успел наиграться в детстве и теперь наверстывает упущенное, превращая жизнь в уже, увы, не детские забавы. Вся его жизнь была игрой. С той лишь только разницей, что ее результатом были слезы и беда, причем не детские, а вполне настоящие. Сколько бы горя он ни принес людям в прошлом, нельзя сказать, что он их ненавидел. Для него зло было необходимым компонентом жизни. Не личным. Он относился к своим жертвам скорее безразлично. Понятиями о нравственности общечеловеческой он себя не утруждал. У него была нравственность, но своя собственная, и ему было все равно, что по этому поводу думают другие.

Ни я, ни он не были верующими. Но мы с удовольствием говорили о Христе. Я нападал, а он защищал Спасителя, его увлекала героическая романтика образа. Он презирал людей, за которых умер Христос, но восхищался решительностью и жертвенностью Господа. Для меня же Христос был мыслителем, которому не удалось, по сути, ничего добиться ни при жизни, ни после нее. По странной иронии судьбы, Толик считал Христа очень близким себе по духу. И ненавидел Иуду.

В нашем мире все не черно-белое. Не просто хороший или плохой. Жизнь не просто сложнее. Она другая.

На тот момент Толик уже провел в ожидании очередного суда больше пяти лет. С ним явно не торопились, справедливо полагая, что на свободе ему все равно делать нечего. Мне было страшно любопытно узнать, что же такое он натворил в очередной раз, но спрашивать нельзя. Даже если вы друзья. Неписанный закон намного сильнее, чем все написанное к исполнению. Первый протаптывается, как тропинка, по которой ходят, есть на ней асфальт или еще нет. Закон же писанный подобен укатанной дорожке, а пройдут ли по ней, зависит от того, правильно ли она проложена и найдутся ли желающие по ней ходить.

Однажды утром в камеру принесли обвинительное заключение по его делу. Толик расписался в получении и положил в свою тумбочку. А вечером за ужином он спросил, мол, хочу ли я знать, почему он здесь. Хитрить и притворяться с ним было нельзя. Да и зачем? Хочу. Толик залез в тумбочку и дал мне толстенную папку. Читай, если интересно.

После отбоя я устроился поудобнее и принялся за чтение. Я ожидал увидеть нечто подобное детективу и стал читать с первой страницы, стараясь не пропускать даже анкетных данных. Толик мне был весьма интересен.

С тех пор прошло больше двадцати лет. Забыть то, что я прочитал той ночью, я не смогу никогда. Это я знаю точно.

Толик был влюблен. Это была весьма достойная женщина-врач. Жениться он не собирался. Это не то, чтобы не входило в его планы – просто, судя по всему, он готовил себя к другой жизни. Одиночка. Но для предмета своей любви Толик был готов почти на все. Он приносил ей роскошные подарки. Она никогда не спрашивала, откуда деньги, да он бы никогда и не стал ей рассказывать. Врать бы не стал, но рассказывать – никогда. Он задумал подарить ей на день рождения машину. Не меньше. Меньшего он просто позволить себе не мог. Слишком хорошо он относился к своей подруге. В те времена, чтобы купить машину, надо было заплатить в несколько раз больше, чем она стоит. Но для Толика это значения не имело. Он то знал, что раз решил, то обязательно сделает. Отобрать деньги у кого-то – ему нужнее. От одного знакомого он узнал, что двое пожилых людей и весьма зажиточных собираются уехать в Израиль. Толик был русским, но евреев уважал. Что, впрочем, совершенно не мешало ему подготовить план ограбления. В мыслях все представлялось просто – зайдет, спросит, где деньги, в случае необходимости пригрозит ножом – и привет.

Но, когда, представившись электриком, он зашел в квартиру и спокойно предложил дать ему денег, то неожиданно наткнулся на отказ. Толик не ожидал

такого поворота. Правда, он знал, что без денег отсюда не уйдет. Это его успокоило. Он хотел подарить машину. И все стало на свои места. Он связал пожилых людей и стал пытаться мужа. Тот кричал, но ничего не рассказывал. Толик же спокойно на глазах у связанной жены продолжал пытку, о которой я даже сейчас не могу и не хочу рассказывать – к делу были приобщены фотографии. Примерно через час жертва не выдержала и рассказала о тайнике. И спустя минуту (так это следует со слов Толика) он умер, сердце не выдержало. Жена все время рядом. У Толика дилемма, что с ней сделать – она свидетель, теперь уже свидетель не просто ограбления, а убийства. Он сомневался (и сомневался ли вообще?) совсем недолго. Убил ее. Закрыл дверь и ушел. Прямо из квартиры он пошел на свидание, купив по дороге огромный букет цветов.

Утром я спросил его, о чем он думал в ночь после убийства. Толик удивленно посмотрел на меня и сказал, что он в ту ночь спокойно спал и даже снов не видел.

Этот человек спас мне жизнь.

Вторая книга царств 12

И поразил Господь гитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело.

И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле.

И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба.

На седьмой день гитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец; ибо, говорили они, когда гитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: "умерло гитя"? Он сделает что-нибудь худое.

И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что гитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло гитя? И сказали: умерло.

Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел.

И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда гитя было еще живо, ты постился и плакал [и не спал]; а когда гитя умерло, ты встал и ел хлеб [и пил]?

И сказал Давид: доколе гитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и гитя останется живо?

А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу вернуть его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне...

...И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее.

И взял Давид венец царя их с головы его, - а в нем было золота талант и драгоценный камень, - и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много.

А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи.

Синди

Ей пятьдесят лет. Но выглядит она лет на пятнадцать моложе. Она – мать шестерых детей и жена пастора. Плачущей я видел ее только один раз. Но об этом потом.

У меня есть друг. Как сын. И брат. Ни братьев, ни сыновей не выбирают. И если спросить, хотелось бы мне видеть его более совершенным, ответ будет – да. И это нормально. И друг он мне не потому, что меня все устраивает в нем. Я уверен, что, будь его воля, он многое поменял бы и во мне. Но друг – это когда желаешь добра и перемен к лучшему. В этом, пожалуй, мы согласны.

Он был жизнерадостным, молодым и потому здоровым. Жизнерадостность настолько была в нем через край, что мешала порой жить другим. К нему относились со смешанным чувством осторожности и зависти. Как к ребенку, не понимающему, что попал в лавку с дорогой посудой. Может разбить. А все равно радуется. Слононок в посудной лавке. Не без осколков. Это раздражает.

Где бы он ни был, он говорил о Христе. В его семье к этому относились весьма враждебно. Как к горю. Семья была из бухарских, а потому весьма традиционна в своей ненависти к Иисусу. Чего только они ни делали, чтобы вернуть моего друга на «путь истинный»: уговаривали, угрожали, проклинали, плакали, смеялись над его верой, обещали золотые горы – все было тщетно. Он продолжал верить, снося унижения весьма болезненно, но достаточно стойко. Родители не могли не заметить в нем

положительных перемен, но относили это не к вере, а, скорее, к временному помешательству, которое с годами пройдет. Так они утешали себя. И объясняли себе то, что понять не могли.

Он уехал учиться в другую страну. Вере не изменил. Пожалуй, стал немного серьезнее, но солидности не приобрел. И говорили о нем, как всегда, в два голоса.

И вдруг он заболел. Совсем не легкой болезнью. Которая могла легко привести его к смерти, совсем уж дикой в его достаточно юном возрасте. Почки отказались работать. Сначала частично, а потом и совсем. Диализ. Мучительные процедуры каждую ночь. Больницы. И врачи не дают больших надежд. Ну пять-шесть лет. А у него уже жена и двое совсем маленьких детей. Бог исцелит – друг был в этом уверен. Как – не знал, но то, что исцелит – точно. Он ожидал, что вот однажды проснется – и все будет хорошо, и уже сморщенные и забывшие о том, как работать, почки вдруг заработают, как будто не было всех этих лет страданий. Но ничего не происходило. Чуда все не было. И пришло время, когда уже ничего, кроме пересадки, помочь не могло.

Синди об этом ничего не ведала. Жила за тысячи километров от Израиля по другую сторону океана. Она узнала о нашей беде из письма. Там была просьба молиться. А о чем еще могли мы просить? Пока она читала, что-то кликнуло у нее в сердце. Так бывает. Вот услышал не о себе и понял: это для тебя. От неожиданности она присела. Это Ты, Господь? Ты что-то сказал? При чем здесь я? И уже вообще с замиранием сердца, надеясь, что ответа не будет: Ты хочешь, что бы это сделала я?!

Свет не померк, не раздалось громовых раскатов – ничего из того, что могло быть хотя бы знаком. Но мысль засела крепко. Она не отпустила. С ней просыпалась и ложилась спать. Она написала письмо, ну так, на всякий случай, скорее, чтобы исключить любой намек: читала, молюсь, какая у него группа крови, ну и все такое. Пришел ответ. Она пошла в больницу и сдала кровь на анализы. Все совпало. Обрадовалась ли она? Я не думаю, что вопрос вообще стоял так. Она пыталась во всем уловить Его волю, чувствовала Он где-то рядом и что-то хочет сказать. И боялась угадать.

Было обеденное время. Она подошла к мужу и, улыбаясь, спросила, что он думает о трансплантации. Обед – не самый лучший момент для таких вопросов, аппетита не прибавляет. Но он знал свою жену и ответил в том духе, что все зависит от обстоятельств. Ответ, который ни о чем. Ответ, не отличающийся от вопроса. Она промолчала. Но спустя неделю рассказала ему все. И добавила, что уверена: Господь хочет, чтобы она сделала ЭТО. Он ответил медленно, собираясь с чувствами: Кто я такой, чтобы сказать НЕТ, если Господь говорит ДА. Я не хотел бы быть на его месте. Одно дело отдать часть своего тела, и совсем другое – отдать то, что принадлежит самому-самому. Что он пережил – судить не берусь.

А потом она прилетела в Израиль. Я встречал ее в аэропорту. Мой друг в это время лежал на больничной койке и плакал от боли. А она, прилетев, впервые в жизни увидела пальмы и попросила сразу же везти ее больницу – это после двенадцатичасового перелета. Я ожидал чего угодно. Пафосности, самопожертвования, трагичности, пугающей эмоциональности (не путать с духовностью). Ничего

этого не было. Передо мной стояла молодая женщина и вела себя так, как будто бы приехала на курорт понежиться в море и поесть фруктов. Она не просто приехала помочь. Она приехала радоваться тому, что все в ее жизни – по Его воле.

Мы поехали в больницу. Она смотрела на моего друга и плакала. Вот именно тот самый раз. Плакала от горя, что не может прямо сейчас отдать ему, увиденному ею в первый раз, почку, которую еще хранило для него ее тело.

Потом еще были несколько недель проверок. Совместимость. И душевное ее состояние. Никто не мог поверить. Все искали скрытый интерес. Все надеялись, что она просто сошла с ума. С этим проверяющим легче было бы жить. Ведь тогда не надо думать о своей жизни, ценностях, вечности, наконец. Она прошла все проверки. Встречалась с людьми. И говорила о великой милости Божьей, позволившей ей отдать другому то, что вообще-то принадлежит не ей, а Богу. Для скольких людей она стала чудом отсчета, мы узнаем лишь в жизни после жизни. На небесах.

Настал тот самый день. Они лежали в операционной друг возле друга. И случилось – часть ее жизни стала жить в нем.

Он поправился и живет. Все так же говорит другим о Господе.

Спустя две недели после операции она пришла к нам и говорила о великой радости, которую пережила. Люди плакали. А она улыбалась. Я слушал ее, пытаюсь понять, чему стал свидетелем. В какой-то момент я поймал себя на том, что во всей этой исповеди ни

разу не услышал слово «я». Или мне это показалось. Нет, я продолжал слушать. Она говорила о милости Творца, о Его чуде, о людях, которые молились. В ее рассказе был муж, сам мой друг, дети, но более всего Тот Самый Бог, Который Не Пожалел Себя. Ради других. Во всем этом ее просто не было. Это была не деланная скромность. Ведь она так радовалась пальмам.

Жена моего друга ждет третьего ребенка. Если родится девочка, ее назовут Синди.

Послание к Галатам 5

Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя...

... Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Нафан

Он должен это сделать. Но как? Вот так прийти к царю и сказать все, что ты о нем думаешь. Да и кто без греха? Он сам не лучше. Нет-нет, он не опустился еще до того, чтобы отбивать чужих жен. И, конечно же, никого не убивал. Но разве он никогда не желал смерти другим? И разве его взгляд не останавливался на той же Вирсавии. Ведь как хороша! Он может понять Давида. Понять – не значит принять. Но, может, и вся его праведность лишь в том, что он – не царь. И у него нет власти крушить чужие судьбы. Кто знает, что натворил бы он сам, оказавшись на месте царя. За кого ручаться? За себя – он не рискнул бы никогда. И вот теперь он пойдет к Давиду и все ему расскажет. Будь что будет. И в этом вовсе нет геройства. Он просто не может иначе. Промолчать – еще труднее. Каждый из нас ищет путей легких. Так и он. Его легкий путь чреват последствиями. Но путь молчания ему просто не под силу. Значит, и ты не лучше Давида. Он ведь тоже не сопротивлялся обстоятельствам и желаниям.

Давид сидел у себя во дворце. В прекрасном расположении духа. Он вкусно поел и собирался заняться государственными делами. С утра он, как всегда, молился. А еще до еды. И после. Вирсавия мила. Слуги преданны. Господь обещал вершины, до которых еще идти. Но Он верен. И если что сказал – обязательно сделает. Как много зла вокруг. Он сделает все, что скажет Господь. Сегодня он написал прекрасный псалом. Был ли он от Бога? Будущее рассудит. Он любит писать. Играть. Петь. Всегда во славу Отца. И, кажется, делает это неплохо. Вчера

приходил Асаф. Похвалил. Вряд ли из лести. Не такой это человек, чтобы льстить. И толк в своем деле он знает. Ну что ж, за работу: «Господь, Пастырь мой...»

Постучали. Давид недовольно поморщился. Не дают побыть наедине с Творцом. Надо будет сказать, чтобы не беспокоили, когда он пишет. В дверях появился Нафан. Видимо, что-то случилось. Этот – человек не светский. Просто так не придет. Его считают пророком. Давид всегда со сдержанным страхом ожидает, что скажет через него Господь. Не то чтобы он не готов был слушаться. Но, с другой стороны, иди знай, о чем скажет. Послушание и смирение – совсем не одно и то же.

Нафан не начал с пугающего «Так говорит Господь...» Ну, значит, пришел с чем-то личным. Отлегло.

Давид сидел и слушал то ли притчу, то ли байку. Зачем ты пришел, Нафан? Ну да, все это трогательно. Овечка и злодей. В другое время сам бы написал что-то из этой серии. Вот родится сын – он с радостью расскажет ему эту историю. Ты хочешь узнать, как яотреагирую? Зачем? В любом случае, откровенность – за откровенность. Мне не надо притворяться. И пусть – это сказка. Этот злодей достоин смерти. Сказал и сам удивился своему гневу. Видимо, внутри я еще ребенок. Кто же это? Назови его имя? Спокойнее, Давид. Это же не всерьез – так, притча. Подумал и улыбнулся, про себя. Но что это с тобой, Нафан? Возьми себя в руки, в конце концов пред тобой же царь.

Каждое слово давалось Нафану тяжело. Он выдавливал из себя фразы, его голос срывался. Но внутри все же жила надежда. Царь поймет и раскается. Ведь он не пришел судить. Он пришел призвать к покаянию. Он слышал эту сказку от своей мамы. И никогда не думал, что будет рассказывать ее царю. Он хорошо знал, что где-то глубоко в сердце каждый из нас хранит младенческую душу, и царь, человек из плоти и крови, не был исключением. И жалость, присущая всем в детстве, надеялся Нафан, способна отворить путь к сокрушению. Он старался не говорить лишнего и не выказывать ненужных эмоций. Это ведь царю решать, что делать со своей судьбой. Никто, кроме него, не в силах извлечь из своего сердца страшный грех, вывернуть наизнанку душу и посыпать голову пеплом. О, как бы он хотел быть на месте царя, вместо царя. Но каждый умирает в одиночку. И каждый должен будет нести ответ за каждое свое слово и дело. И за слово, которое стало делом. И за дело, которое втайне, и которое так никогда словом и не стало.

Он закончил рассказ и стал ожидать приговора. За себя он уже не переживал. Царь должен был вынести приговор себе. Оправдательный был бы равнозначен смерти. Но то, что он услышал, раздавило его. Он мог ожидать любого конца: попытка оправдаться, свалить на воспитание, полученное в детстве, неумение бороться со страстью, желание видеть наследника, неприязнь к Урии, наконец. Но ничего этого не было. Он говорил в пустоту.

Нафан прожил жизнь и знал, что делает с человеком грех. Арифметика зла, проста и высчитана, как раз, два и три... Сначала ты не замечаешь греха, потом грех перестает помечать тебя. Но забыть насовсем?!

Нафан взорвался. Вот так, в исступлении, он обычно слышал от Господа. Не всегда отдавая себе отчет в том, что слышит. Но это неважно. Ведь он всего лишь сосуд в руках Всевышнего. Сейчас уже говорил не он. Он забыл даже сказать «Так говорит Господь...» Но он точно знал, это от Господа. Он больше не видел Давида, перед его глазами стоял Авраам, готовый принести в жертву Исаака. И да остановит его Господь!

Слушай, Давид, слушай! Если бы я, Нафан, ничтожнейший из рабов, украл, изнасиловал, убил, затаился, подобно гадюке, разве я не вздрагивал бы каждую ночь от малейшего шороха? Разве стук в соседскую дверь не покрывал бы все мое тело липким потом, и ступни мои не разъезжались бы, и сердце не таяло в ужасе? Разве я смог бы в голосе своей возлюбленной не слышать стенания ее мужа, и крики его из преисподней разве не напоминали бы мне о моей скорой участи? Разве намек, улыбка, недосказанная мысль, лесть, настойчивая просьба не пугали бы меня тем, что нечистота моя выйдет из смрадной щели и станет видна всем? Разве я мог бы обнимать свою жену, не касаясь прикосновений того, кого я сослал на верную смерть? Разве сын, которому не суждено жить, я знаю об этом, ибо Так Говорит Господь, не укорял бы меня еженощно, еще не родившись? Разве, наконец, склоняя голову в молитве, я не боялся бы, что никогда уже не смогу поднять ее вновь, ибо страшен гнев Господа? Или ты более не слуга Ему? Или Он более не Господь тебе?! И ты не понял? Или совесть твоя умерла? Этот человек – ты. Этот человек – ты, Давид.

Наступила тишина. И в этой тишине, как капля в темя, ворвалась мысль: я не лучше, чем ты, Давид. В Адаме

согрешили мы все. Он содрогнулся от отвращения к себе. Заплакал от боли. И ушел.

В эту ночь Давид просил прощения у Господа и благодарил Его за то, что прислал к нему Нафана.

В эту ночь молился о прощении и Нафан, благодаря Творца за явленное ему в Давиде.

Книга Иова

Господь отвечал Иову из бури и сказал:

кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?

Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:

где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.

Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней
На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный
камень ее,

при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божию
восклицали от радости?

Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы
из чрева,

когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его,

и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота,

и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным
волнам твоим?

Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли
зарю место ее,

чтобы она охватила края земли и стянула с нее нечестивых,

чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?

Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?

Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?

Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это.

Где путь к жилищу света, и где место тьмы?

Ты, конечно, доходишь до границ ее и знаешь стези к дому ее.

Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико.

Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу Я на время смутное, на день битвы и войны?

По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле?

Кто проводит протоки для изливания воды и путь для громоносной молнии,

чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека,

чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травяные зародыши к возрастанью?

Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы?

Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный,- кто рождает его?

Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает.

Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?

Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми?

Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?

Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?

Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?

Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?

Кто может расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба,

когда пыль обращается в грязь и глыбы сплпаются?

Сереза

Крупный и большеголовый. Золотой зуб – печать страны происхождения. И еще что-то. Как вызов. Особенно, когда, наклонив голову, он с чем-то не согласен. А несогласен он почти всегда. И зуб поблескивает угрозой-предупреждением: лучше соглашайся.

Сереза был боксером. В России боксер – больше, чем боксер. Как, впрочем, и все там. Недоразвитые души в больших телах. Боксер – это образ мышления и место в иерархии. Там, где прав тот, кто сильнее, сильный слабее лишь того, кто сильнее вдвойне. Просто и справедливо. Немудреная философия работает на все 100.

Нельзя сказать, что жизнь его устраивала. Потому он и женился. Некоторые думают, что люди женятся из-за любви. Но любовь – это всего лишь сопутствующий мотив для души и тела, неудовлетворенных настоящим. Это, как если бы на лыжах – решил спуститься с горы, и потому обдувает ветерком. Но если тебе хорошо и наверху, то ветра не будет. А Серезе хорошо не было. Никто не гарантировал ему, что женитьба будет решением этого душевного зуда. Но больших надежд и обязательств на предстоящее сочетание Сереза не возлагал. Мол, пройдет – хорошо, а не пройдет – не надо.

Тут надо бы рассказать о роде деятельности Серези. Робин Гуд отдыхает. Разбойник, опять-таки на Руси, – это не всегда разбойник. Это зависит. От того, например, у кого он отбирает. Если у бедных и сам при этом неудачник – то ату его и подлец. Если у

тех же бедных, но весьма успешно – это бандит, что контекстуально нашему времени – молодецки-ореольно. Ну а если у богатых, то – герой. Добавьте к этому умение выпить и гуляй-поле щедрость – и жених на загляденье и выданье.

Сереза был из тех самых, что отбирают у богатых. В модном лексиконе это называлось рэкетом. Приходит он, положим, к предпринимателю и предлагает поделиться заработанным. Не просто так – Сереза не беспредельщик. Взамен он гарантирует безопасность и освобождение от «двойного налогообложения». А если проще – если кто-то сунется с подобным предложением, то ему придется иметь дело с Серезиными кулаками или еще хуже. Не все и не всегда соглашались. Видимо, считали, что заработанное принадлежит заработавшему. Но Сереза научился, когда словом, а когда и делом искоренять этот собственнический рудимент-атавизм. На заработанные, а точнее перераспределенные, блага Сереза вел весьма приличную жизнь. Он ездил на иностранной машине и покупал жене мебель и одежду с ярлыками. Большая часть денег выпивалась и выгуливалась с друзьями и девицами, но на отношении к жене это никак не сказывалось. Никаких упреков от нее он не слышал, да и не потерпел бы.

Жена, конечно, плакала. Потихоньку так, в подушку. Но это было частью антуража и игры, которую Сереза обставил своими собственными правилами. Жена квартиру - мебелью. А Сереза жизнь – правилами. Как когда-то один ретивый православный доказывал мне, что ПРАВОславие всегда ПРАВО, потому что так и называется ПРАВОславие. Точно так же и для Серези его ПРАВИЛА были от слов ПРАВИЛЬНО

ПРАВИТЬ. Сомнений не было. И все в жизни было, если не хорошо, то уж точно верно.

Как-то поделилась своим женским горем с соседкой. Про нее говорили, что сектантка. Но кроме этого, ничего плохого за ней не замечали. Инстинкт добра сильнее, чем клеймо, и Марина, Сережина жена, рассказала ей свою историю. Особенно не надеюсь на помощь – чем тут поможешь? А так, чтобы легче стало. Соседка не стала успокаивать и давать ничего не стоящих советов (стерпится, слюбится, у других еще хуже, а ты ему сама измени, махни рукой – список можно продолжать), а спросила, может ли она просто о ней помолиться. Последний раз о Марине молился поп во время обручения в церкви, но о чем молился, она толком и не поняла – раньше был работник загса, а сейчас поп – ни то ни другое сердца ей особенно не грело. Соседка, между тем, молилась человеческими словами, просила Бога, и вместо ожидаемого отреченного пафоса на лице у нее была улыбка, как бывает от встречи с давним и хорошим знакомым.

Марина в Бога не очень-то верила. Его она относила к потусторонним силам, с которыми, если они вообще есть, можно сладить при помощи ворожейских штук и плевков через левое плечо. Но вот так вот, по-домашнему и доброму – она не видела никогда. Мир разом стал больше, и замкнутый круг раздался. Был кто-то, кого не было до сих пор, значит, есть надежда неотсюда. А вдруг? Она еще ничего не знала о Христе. И не могла бы отличить Павла и Петра (на иконе раз она их видела вместе). Ей не так хотелось ТУДА, как ужасно захотелось ОТСЮДА.

Ну а дальше было, как бывает часто у тех, с кем случилось. Она попала к людям, для которых

молитва и вера были частью жизни. И, если хотите, самой жизнью. Она поверила сначала им. А потом и Богу. Слез в ее жизни стало не меньше. Но они стали светлее, что ли. Даже на вкус. Теперь в них была надежда.

Сереза, узнав о новом увлечении жены и убедившись, что оно не вредит его авторитету и чести, отнесся к нему благосклонно. Теперь, отправляясь на что-то особенно серьезное, он просил жену молиться о нем. Образ молящейся и верной жены служил добрым знаком. Дочери их было уже три года. Все было правильно.

Но однажды нашелся кто-то сильнее. И Серезе пришлось искать пятый угол. Он удирал аж до Израиля. И осел. И хотя кулаки были те же, здесь – не пошло. Приходилось работать. Девушки были разные, но прежнего класса и шика уже не было. Наверное, из-за жары и сандалий. Ну не убеждают сандалиии – и все.

Как-то раз под вечер, уже прилично выпив, ему повстречался человек. Тротуар был узкий. Кто-то должен был посторониться. Но никто не хотел. Кулак оказался прав. Человек упал, и от падения голова его хрустнула. Он остался лежать, не подавая признаков жизни. Сереза добежал до дому и затаился. Это уже была беда. Но рассказать об этом было некому. Да и нельзя. Он вспомнил о жене и дочери. Потом придумали туристическую поездку. Она приехала и осталась.

Он устроился работать в овощном магазине. Вида на жительство ни у нее, ни у него не было. Но всегда находилось, где убрать и где поднести. На квартиру и еду хватало. Марине уже давно надо было большего.

Она как-то по объявлению нашла меня, позвонила и уже на следующий день оказалась среди тех, кого искала. Теперь она опять могла молиться, читать Писание и... надеяться. Сережа тем временем пил. Не так запойно (опять жара) и увлеченно, как прежде. Но все же. Иногда, когда стемнеет, он провожал Марину на молитву, но внутрь не заходил. Перекуривал время и отвечал на приветствия ее новых знакомых. Рассказы о жизни после жизни его не занимали. Он хотел всего здесь и сейчас. И этим не отличался от большинства благопристойных, не дерущихся и не пьющих.

И как-то раз... Все в нашей жизни случается именно так, в как-то раз. То ли было холодно-дождливо, то ли мало ли почему, но он зашел и не вышел. Досидел до конца, оглядываясь на диковинных и разных вокруг себя. Не то чтобы понравилось, но уж слишком все было по-другому. Он размышлял, пытаясь оценить резоны молящихся, высчитывая несуществующие их выгоды. Но задачка не решалась. И это порядком раздражало. До сих пор все было просто. Как в кабинете у следователя. Определить цели и мотивы. А потом – как по-накатанному. Если есть восемь, то это потому, что у тебя было четыре, а еще четыре ты у кого-то позаимствовал. Здесь же эта жизненная математика давала явный сбой. Просили и получали, правда, не сразу и далеко не всегда то, что просили, но радовались, как будто просили именно это и тогда, когда было надо. Идеализм оказался гораздо практичнее, чем все выверенные, казалось, законы. Он стал завидовать. Раньше это не предвещало для предмета зависти ничего хорошего. Сережа ведь твердо усвоил закон сообщающихся сосудов. Из всех видов арифметических операций Сережа верил лишь в деление. Когда кто-то с тобой. А здесь

делившийся не терял. Это было настолько очевидно, что захотелось и для себя того же.

Он сидел в заднем ряду, прямо на проходе. Привычка. Чтобы не видели, и уйти, когда надо. Я стоял в другом конце небольшого зала и говорил, сейчас уже не помню о чем. Скорее всего, о том же, что и всегда. О покаянии и вечности. О суете и временности. Помню же, что, когда говорил, смотрел на него. И даже не потому, что говорил именно ему. Не так. Но весь его вид и даже то, как он сидел, говорили о чем-то, что вот-вот должно произойти. Камень на краю обрыва. Может сорваться и упасть в любую секунду. То ли раздавит кого-то, то ли сам расколется. До этого момента я не припоминаю, чтобы говорил с ним о чем-то, кроме – как дела? Сейчас же я пошел по направлению к нему и вдруг понял, что где-то там, на небесах, ангелы напряглись в радостном ожидании. Мне не надо было быть одним из них. Просто надо было сказать, что они ждут. Он встал со своего места. Было видно, что это далось ему нелегко. Шаг вперед. Остановка. Как вечность. Еще шаг. Я протянул ему руку. И его буквально понесло вперед. Он свалился на колени (именно свалился) и, сначала запинаясь, а потом все шире и глубже, стал говорить о себе, о Боге. И о Боге для себя. И том, что все, больше он так не хочет. Хочет иначе. Любить. И с ревом – не могу больше ненавидеть. И еще о прощении. Так долго и радостно. Он плакал. Я плакал. Все плакали. И радовались ангелы. Потом кто-то скажет: душа покаялась.

Бог прощает вину и никогда не оставляет без наказания. Если раньше ему как-то жилось с тем неведомым то ли убитым, то ли выжившим, то теперь мука непризнания и страх непощения стали

невыносимыми. Он пришел ко мне и все рассказал. Я боялся только одного, что он спросит меня, что же теперь делать. И он спросил. Сколько раз в жизни мне приходилось советовать людям и с ужасом слышать звук собственного голоса. Одно дело – призывать к покаянию, а другое препроводить покаявшегося на тюремные нары. Я что-то промямлил. Мол, я надеюсь, с этим человеком ничего не случилось. Сережа смотрел на меня, как всегда, наклонив голову. Я иду в полицию, сказал он. Тихо так сказал, но светло и спокойно. И я, обрадовавшись, что это не я, а как Иисус когда-то Пилату: ты сказал, успокоил свою совесть и Сереже: так, сын мой, ты сказал.

К полудню завтрашнего дня на моем телефоне высветился Сережин номер. Нажать кнопку – все равно что приставить пистолет к виску: что там будет. Он кричал в трубку, мол, все здорово. У них действительно в полиции что-то такое было, но человек этот в тот же день оказался дома и никогда никакого дела не возбуждал. Главное – он жив. И он, Сережа, жив. Ибо Он, Господь, жив.

Потом он был самым лучшим моим студентом. Учил лекции наизусть. Учил других. Всегда молился. Уехал обратно в Украину. И сейчас – пастор. Все такой же, неудобный для других, с наклоненной головой.

Евангелие от Иоанна 14

В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам».

Вчтүшд

Москва – город серьезный. Деловой. Вот именно, деловой, а не деловитый, как тот, в котором я родился и вырос. У нас было много мишуры и шуму. В Москве даже мишура была настоящей. А шум – натужный и честный.

Там жили разные люди. Были и те, кто родился там по недоразумению. Но все приезжие, от лимиты и до воров, от художников до партийных работников, были готовы рвать подметки в поисках каждой своей славы и куска. Москва потому город жесткий.

Я приехал в Москву от лени сопротивляться судьбе. Однажды заработав десять рублей, необходимо заработать сто. Это логический для кого-то конец, а для кого-то продолжение. Смотри, повезет или нет. Мы прилетели поздно, долго ехали куда-то. Поднялись на лифте и позвонили. Была уже ночь. Но мой друг меня уверил, что сюда можно приехать в любое время. Я ему доверял, но было все же неудобно. В доме никто не спал, нам открыли сразу и как-то весело. На пороге стоял розовощекий рыжий мальчик. Он, видимо, смотрел телевизор или был занят чем-то интересным. Открыл дверь и, кинув «привет», исчез в глубине квартиры, оставив нас на пороге с сумками и нерешительностью. Мы вошли. Налево от входа, на кухне, сидели несколько человек и, радостно поздоровавшись, продолжили свою трапезу-разговор. Было понятно, что гости здесь не редкость. Мой приятель, отъев что-то от стола, представил меня, а сам примостился рядом. Хозяева пригласили и меня присоединиться к ним, что я незамедлительно и сделал.

Суть разговора меня не слишком увлекала. Услышать здесь о творчестве раннего Рахманинова я не ожидал. И в своем неожиданном не обманулся. Говорили о делах и деньгах. При Советской власти дела были запрещены, но Советскую власть в грош никто не ставил, и жили мы по понятиям.

С хозяйкой дома я познакомился наутро. Ее накануне вечером за столом не было, она пришла поздно. Каля (Калина Михайловна) была женщиной необыкновенной красоты. Вот только полна чрезмерно. У нее был низкий голос и очень добрые глаза. В семнадцать лет она осталась без родителей и выжила, как смогла. В девятнадцать ее посадили за какие-то махинации. Она провела в лагере шесть лет. Вышла и работала в цирке. Там на ее красоту обратил внимание директор. Отказать ему у Кали не было ни сил, ни специальных нравственных установок, и она родила Витюшу. Папа, хоть и не женился, сына любил и делал все для того, чтобы мальчик ни в чем не нуждался и учился многому. Каля была прирожденной мамочкой. Она опекала своего первенца и ходила с ним на музыку, плавание и рисование. Вместе с ним она училась играть и рисовать. Но заставить себя плавать так и не смогла. Директор выбил для них квартиру в Бабушкино, и Каля с хорошим вкусом сделала из нее место, где хочется жить. У Витюши была своя комната, и она стала святая святых для Кали и всех, кто приходил сюда.

А приходили многие. Каля была необъяснимо и невиданно гостеприимна. Она не отказывала никому и ни в чем. Времена были не очень кисельные, но Каля, постоянно занятая Витюшей и работой, всегда так и говорила входящим: поешьте что-нибудь, возьмите в

холодильнике. Эта привычка не изменилась и тогда, когда в холодильнике уже было не что-нибудь, а то, чего ни у кого не было. Ее дом был и оставался домом для всякого, кто переступал порог. Витюша очень любил своего папу, хоть и встречался с ним не часто – у директора была своя семья. Они все любили друг друга и были почти счастливы.

Директор было много старше Кали. Никто не удивился, когда он умер. Всею свое время. Но для Витюши и Кали наступили трудные времена. Витюша был в семье богом, и для него Каля готова была на все. Она располнела, но энергичности в ней не убавилось.

Люди приходили домой разные. Иногда жили подолгу. И все к Витюше относились хорошо. Иначе бы не жить им там. Витюша принимал их любовь как нечто само собой разумеющееся. Его любили и в школе: за ум и честность. Этому его учили сначала папа с мамой, а потом только мама. Робик появился у них дома случайно – как и большинство людей, которым некуда было пойти и которых никто не ждал. Он только что освободился после нескончаемого десятилетнего срока где-то в Коми. Да так и остался жить. Сначала в гостинной. А потом переместился к Кале. Он совсем плохо говорил по-русски. Пчелу называл «бджоль», и она была у него неизменно мужского рода. Вечерами он рассказывал Витюше о лагере. Витюшины глаза горели, и он всегда требовал четкого завершения рассказа. Все у него делилось на плохих и хороших. Ему мало было фабулы, его интересовало отношение, свое и Робика, к тому, что он слышал. И хотя он не всегда мог понять замысловатую Робиковскую речь, важно было выяснить самое важное – кто виноват и кто прав. Робик умел увлечь и убедить.

Это было не так уж и трудно - Витя был маленьким мальчиком, а доказать, что при Советской власти лагерь – это место для честных и несмирившихся людей, согласитесь, весьма просто. Так или иначе, к моменту моего первого визита к ним в Бабушкино, основные точки над «і» в жизни Витюши были уже расставлены. А умным и честным он остался. То есть не говорил неправды и схватывал все на лету.

Каля втянулась в дела Робика и стала личностью авторитетной в московских кругах определенного толка. Перечить ей со временем перестали. Денег теперь было очень много. Иной раз они лежали горками то здесь, то там. Помню, мы с приятелем собирались вечером куда-то погулять. Она спросила, есть ли у нас на что. Если честно, то было не особенно густо. Возьмите там, – она неопределенно указала куда-то в угол. Возле дивана на столике лежала ну просто неприличная гора бумажек. Мой приятель взял наугад. И все. Никогда она не спросила у него, когда он вернет, да и вернет ли вообще.

Я приехал в очередной раз в Москву и, как всегда, поехал к Кале. В те времена остановиться в московской гостинице было чрезвычайно трудно. Не всегда помогали и деньги. Я закинул свои вещи, Каля дала мне ключ, чтобы я не зависел от нее, и я умчался по своим делам. Вернулся я уж совсем поздно. Но в квартире не спали. За столом сидели Каля, Робик, его брат Рафик и Витюша. Лица у всех были серьезные. Даже у Кали. Оказалось, что сразу же после того, как мне отдали ключи, в квартиру кто-то проник и похитил все Калины драгоценности. Их стоимость была какой-то запредельной. Теперь все смотрели на меня и ждали объяснений. Я немного струхнул. Я знал серьезность людей, которые

сидели передо мной. Очень трудно доказать, что ты здесь ни при чем, особенно, если никого другого нет. Тут дверь опять открылась, и вошла Валя. Она жила у Кали уже несколько лет, убирала, варила и знала все обо всем. Вошла как-то боком. И в глаза не смотрела. Робик, не отличавшийся изяществом фразы и в более спокойное время, прямо и в лоб спросил о пропаже. Она, конечно, ничего не знала. Но тут за дело взялся Рафик. Этот вообще провел за решеткой двадцать пять лет, и один его вид внушал страх. Меня попросили выйти, и минуты через три Валя рассказала о том, как навела на квартиру своего грузинского приятеля. Рафик и Робик были из Армении. Детектив раскручивался у меня на глазах. Пора было переходить к заключительной стадии. Откуда-то на столе появился пистолет. Робик потечески попросил Витюшу принести еще один. Витюша исчез и через минуту притащил откуда-то просимое. Собирались весело и по-деловому. Как и все в Москве. Робик и Рафик уже стояли в дверях, готовые отправиться за своим. Робик спросил, есть ли желающие присоединиться к компании. Я был не в восторге от идеи. И отказался. А ты, Витюша, с нами? Ты уже мужчина (Вите только что стукнуло 14), тебе пора уже подумать о профессии. Ты идешь? Витюша с восторгом согласился. И под влажный взгляд Кали веселая компания уехала восстанавливать справедливость. Все должно было быть честно. Ведь с ними поехал Витюша.

На другой день (а все украденное вернули в ту же ночь, судьба же анонимного грузина была весьма печальной) я стал свидетелем разговора, который можно было бы занести в энциклопедию безнравственности, если бы такая существовала. Собственно, это был не разговор – напутствие,

которым любящая мать наставляла своего уже оперившегося отпрыска. Витюша ел за 19 копеек мороженое и внимательно слушал маму. Относился он к ней всегда с уважением. Витюша, ласково и убедительно лился Калин монолог, ты уже почти взрослый. Я не знаю, долго ли мне жить, но мне хочется, чтобы ты был счастливым человеком. Запомни, что настоящее счастье не в том, кто вокруг тебя и что вокруг тебя, но в том, кто ты есть и что ты из себя представляешь. Ты можешь стать кем угодно. Ты можешь быть артистом, писателем, музыкантом, вором, врачом и даже рабочим. Это не так важно. Важно, чтобы ты был порядочным и честным человеком.

В ту пору библейская нравственность еще не стала моей. Но даже тогда я с ужасом выслушал этот монолог. Если правда, что нет разницы между убийцей и врачом, тогда нет разницы и между жизнью и смертью. Это было так очевидно, что и меня, не веровавшего ни во что, прибило. Я собрал свои вещи и уехал. Больше я никого из них никогда не видел.

Лет через десять я узнал эпилог этой истории.

Робика застрелили тем же летом в какой-то перестрелке.

Каля долго переживала это горе, но в конце концов у нее оставался Витюша. Он закончил школу. Почти с отличием. А на выпускном кто-то неуважительно отозвался о его маме. Или так ему показалось. Витюша не думал дважды, а просто ударил ножом обидчика.

Вместо института он попал в известный ему лишь по рассказам лагерь. Авторитет Робика помогал ему не бедствовать и там. Но Каля, оставшаяся совсем одна и давно болевшая раком, умерла совсем еще не старая. Витюша вышел. Определившись со своей профессией и, став человеком порядочным в маминой формулировке, теперь не щадил никого.

Уже в Израиле я прочитал в русской газете, что вора в законе Калину застрелили на пороге собственного дома.

Екклезиаст 12

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!"

доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем.

В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно;

и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дочери пеня;

и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; -

доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем.

И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его.

Суета сует, сказал Екклезиаст, всё - суета!

Менахем

Мне с Менахемом говорить трудно и почти не о чем. Наши жизни и судьбы, хоть и пересеклись, продолжают оставаться весьма параллельными. Ему – за восемьдесят. Мне – пятьдесят. Дело не только в возрасте. Тут о другом. Речь о годах.

О том, что он видел, я только слышал. А до того, что вижу я, – ему почти нет дела. Я – здесь. Он – там. Иногда эти здесь и там совпадают. Но это только для того, чтобы поздороваться, помолчать и разойтись.

Я говорю ему о Боге. Он слушает и вряд ли слышит. Не потому что не слышит, а потому что не может. Его очень легко пожалеть. Его нетрудно и осудить. Ни то, ни другое не подходит. И не липнет. Он просто Менахем. С судьбой Менахема. Прошое поменять почти невозможно. А если мы и есть результат прошлого, то и настоящее от нас не зависит. Так бы мог возразить мне, Менахем, если бы возражал. Мы, конечно, результат прошлого, но будущее предсказать не можем. Поэтому оно зависит не от настоящего, а от того, что будет через секунду. Реши, что сделать, и измени жизнь к лучшему. Так бы мог возразить я, если бы стал возражать. Мы не спорим. Каждый лишь о своем. Я молюсь о нем, а он не мешает. И на том спасибо.

Когда ему было восемнадцать, он попал в лагерь. Из рая в ад. Но человек привыкает ко всему. И скоро ад стал казаться если не раем, то уж, во всяком случае, не адом точно. Вы не поверите, но и там люди

смеялись, а дети играли, как могли. Жизнь стала дешевле. Но платить за нее было все равно почти нечем, поэтому требовать стали меньше. И значит мало что поменялось. Работа была неинтересная. Но привыкали и к ней. А кто не мог привыкнуть – умирал или его умирили. Поэтому особенных противоречий между смыслом и формой бытия опять-таки не наблюдалось. Жизнь, как жизнь. Кессонная болезнь. Опуститься можно. Всплывать опасно – разорвет. Беда была не для тех, кто ушел. Беда осталась для тех, кто выжил и всплыл. А вернее, всплыл и не умер.

Сначала все было нормально, как у людей – работа по шестнадцать часов, голод и побои. Вечером миска горячего. Утром, как всегда перед выходом на работу, выносили не переживших ночь. В общем, нормальная жизнь в нормальном лагере. А то, что все это ненормально, так это как судить и с чем сравнивать. Старое не помнится, а нового еще нет.

Как и все, Менахем мечтал выжить. Точно так же, как сегодня мы мечтаем о том, чтобы жить хорошо. Ведь мы же не считаем свою мечту исключительной. Так и Менахем жил, мечтая выжить. Но ведь и мы говорим и мыслим не только о хорошей жизни. Порой и об обыденном. Так и Менахем не всегда мечтал выжить, а просто выносил трупы, перекуривал и плакал или улыбался. Короче, нормальная жизнь.

У него был друг, с которым они начинали лагерь вместе. Работали и спали рядом. Потом утром он не встал. Менахем не мог смотреть. И вынести друга пришлось другим. А через неделю столько

произошло, что уже никто не помнил. Приехал эшелон. Рассказы. Слезы. Радость. Ну и, конечно, многие из новеньких сразу Туда. Рутину.

Менахем был крепким пареньком. Даже не то, чтобы физически, а с упрямым взглядом. Такой, если не выживет, то все равно протянет долго. Его поставили возле печки. Сжигать людей. Не живых, конечно, а мертвых.

Вот это уже было иначе. Ну, не так, как у людей. Да и как об этом сказать, если спросят. Профессия – пожигатель трупов. Он был не один у топки. Еще напарник. Вдвоем загружали. Выжидали какое-то время. Пепел, зола – наружу. И новый неживой. Сладкий запах – от него болит голова. Но и к нему можно привыкнуть.

Менахем делал работу автоматически. Он думал о своем. Вернее, старался об этом не думать. Что-то там крутилось в голове, но никогда не связывалось. Главная задача мысли – это не найти решение, а занять время до того, как это решение найдется или его найдут другие. Можно было с равным успехом думать о предвоенных ценах на яблоки или о том, где он будет жить потом. Все это не имело никакого отношения к его жизни, мыслям и решениям. Прореха на штанах – и ты почти инстинктивно закрываешь ее руками. Но заштопать все равно нечем.

Мысли были всякие. Но с какого-то момента он стал думать о мертвых, как о живых. Вернее, о них, когда они еще живыми были. Он представлял себе семью, в которой были родители. У него была такая семья. А потом матери рожали детей. Они приходили вечером к детям и укладывали их спать. И дети были очень чистыми и ухоженными. А если случалось, что

у ребенка болит живот или горло, то его укладывали в постель и вызывали врача. Дети ходили в школу и скрывали от родителей дневники, если в них попадались плохие отметки. Папы проводили время на работе, в синагоге или иногда за пивом с друзьями. Или без пива ссорились с врагами. Все куда-то торопились. Всем хотелось узнать, предугадать и заглянуть. Но наступило время лагеря и все узнали. Гадать и заглядывать теперь было незачем.

Как-то однажды (день выдался очень тяжелым, неживых было в два раза больше, чем всегда) Менахем представил себе огромную родильную палату, где лежат и кричат роженицы, ожидая избавления от мук ценой мук других, которым только надлежит родиться. Огромный такой зал, залитый светом. И вот, вдруг сразу сопровождаемый истошным криком всех, в мир выходит легион младенцев, весь в слезах, и начинает жить. Но только для того, чтобы им успели утереть слезы, и потом все сразу – в печь. А матери опять рожают и кричат, и дети все в той же палате опять плачут – и печь. И так опять без конца. И в прошлое, и в будущее. Словом, всегда. А он, Менахем, стоит возле печи и отделяет очередную партию, то затягивая, то ускоряя время, когда роженицы могут передохнуть между очередной смертью младенца и следующими родами. И ничего в мире больше нет. А есть только Менахем, роженицы, дети и печь. А вы говорите: Бог, Бог... Где тут взяться Богу. Говорят вам: Менахем, роженицы, младенцы и печь.

Ну вот, Менахем после всех этих или всего этого с ума не сошел, а стал мыслить как-то по- своему. Другие,

правда, считали его ненормальным. Но это лишь потому, что у них самих еще не было правильного представления о норме и нормальной жизни.

Вот тут бы Менахему и умереть. Отрешить память, что ли. Перестать воплощать прошлое в настоящее. Но он почему-то остался жить. Всплыл и пока не тонет.

Ну что я могу ему сказать? О любви Божьей? Он слушает и не отвергает. Наверное, он пытается понять, в чем она, любовь Божья, в его отдельно взятой Менахемовой жизни.

Могу сказать и по-накатанному, мол, у Бога есть для него план. Менахем не спорит. В общем, он вполне доволен жизнью и пытается понять, в чем же этот план состоит. И почему ему достался именно этот план, а не какой-нибудь другой.

Если бы у меня были ответы на его вопросы, то он смог бы начать отвечать на мои. Но поскольку ответов у меня нет, то Менахем, наверное, чуя это, вопросов мне не задает и на мои не отвечает.

Все что я могу сделать – это не впихнуть Бога ему в жизнь – сейчас там места нет, а порвать цепочку от Менахема до печи и оставить в ней место моей надежде.

Плач Иеремии 5

Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше.

Наследие наше перешло к чужим, дома наши - к иноплеменным; мы сделались сиротами, без отца; матери наши - как вдовы.

Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги.

Нас погоняют в шею, мы работаем, и не имеем отдыха.

Протягиваем руку к Египтянам, к Ассириянам, чтобы насытиться хлебом.

Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их.

Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их.

С опасностью жизни от меча, в пустыне достаем хлеб себе.

Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода.

Жен бесчестят на Сионе, девиц - в городах Иудейских.

Князья повешены руками их, лица старцев не уважены.

Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров.

Старцы уже не сидят у ворот; юноши не поют.

Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились
в сетование.

Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили!

От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши.

Оттого, что опустела гора Сион, лислицы ходят по ней.

Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой - в род и род.

Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время?

Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как
древле.

Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?

Виктор

У нас было часа полтора свободного времени, и мы зашли в Храм Гроба Господня. В Иерусалиме все это достаточно буднично. Можно назначить встречу у гробницы Давида, а можно и в Гефсиманском саду. Помню, как один мой знакомый, занимающийся бизнесом, и небезуспешно, договаривался с кем-то из своих клиентов выпить кофе в ресторанчике на Виа Долороса. Для многих одно лишь упоминание этого названия вгоняет душу и тело в священный трепет. Для иерусалимских же – это будни. Расцвеченные, правда, самой великой тайной.

В те уже далекие времена услышать русскую речь в Израиле было не так просто. Иммигранты, приехавшие в 70-е годы, из квасных русских заделались бесквасными еврейскими патриотами. И чурались русского языка. А новая волна иммиграции лишь начинала накатывать. Услышанная на улице русская речь была вполне предлогом для начала разговора между совершенно незнакомыми людьми.

А тут, ну прямо перед нами стоял самый что ни на есть носитель великого и могучего, облаченный для пущей убедительности в монашескую ризу. Длинные прямые волосы и отрешенный взгляд (есть такой у православного люда – вроде ты есть, а на самом деле тебя нет), вставленные в темноватый интерьер храма, сломали нашу иммигрантскую нерешительность, и мы обратились к монаху с каким-то ничего не значащим вопросом, вроде «добрый день?» или «вы давно оттуда?».

Молодой человек оттуда был давным-давно, но не

прямым путем оттуда–сюда. Все было закрученнее и сложнее.

Виктор был ленинградским художником-реставратором. И, как все художники, особенно ленинградские, пил в больших количествах. Власти не очень приветствовали подобный образ жизни. Но если это прощалось рабочему классу, то к художникам всегда относились подозрительно. И каждый раз после очередного привода в милицию Виктор должен был доказывать, что он работает, что для того, чтобы не быть тунеядцем, вовсе не обязательно стоять у станка, что он любит родину, а то что выпил – так с кем не бывает. В милиции и так все знали-понимали, но творческую интеллигенцию на дух не выносили. И препроваживали Виктора регулярно то на пятнадцать суток отсидки, то в учреждение, именуемое в простонародье вытрезвителем. Отбыв-отсидев-оттрезвев положенное, Виктор выходил и принимался за работу и питье. Так было заведено.

Ленинград – город дивный. Город, в котором мажоры пьют портвейн с бомжами, а потом каждый расходится по своим делам: одни – собирать бутылки, а другие зарабатывать валютой и чем попало. Объединяет всех нелюбовь к власти и нежелание работать на эту власть. В город приезжали автобусы с вечно пьяными финнами и рыскающими за иконами немцами. Виктор не упускал случая продать водку первым и сплавить новодел вторым. Совесть его при этом не мучила нисколько. Иностранец в Питере рассматривался исключительно как предмет, позволяющий не бежать к семи утра на Кировский завод.

Иностранцы неизменно восхищались древними иконами, которые Виктор красил в свободное от продажи водки время, и щедро платили – кто

долларами, а кто марками. А вот это уже была опасная дорожка, которая при случае (их было хоть отбавляй) могла привести в тюрьму. От валюты освобождались практически мгновенно. Скупщики были известны всем, но они платили милиции, и до поры-времени их никто не трогал.

Как-то Виктор весьма удачно продал Николу-угодника XVII века. Над этой иконой он трудился почти неделю и потому решил отдохнуть, что называется, по полной. Эта возможность ему вскоре и представилась. Правда, совсем не так, как он себе это представлял. Подошли двое, вывернули карманы, привели в родное 44-е отделение здесь же, на Невском, составили акт и прямиком в Кресты, знаменитую питерскую тюрьму. Отдыхал Виктор четыре года. А когда вышел, то твердо решил, что здесь он жить не хочет и не будет. Алкогольный синдром был позади, он даже посвежел, и мешки под глазами стали просто печальными кругами.

Виктор стал задумываться о смысле жизни. В принципе любая русская душа (новая русская, наверное, все-таки – исключение) рано или поздно задается этим вопросом. Не найдя на него ответа, что тоже весьма типично, Виктор стал подумывать об отъезде. Но ни родственников в Израиле, ни диссидентского прошлого у него не было. Нужно было искать иначе. И он решил жениться. На иностранке. Кто-то познакомил его с американкой, влюбленной во все русское. Страдальческий образ непонятого и непризнанного русского художника, сдобренный леденящими душу рассказами о лагерном быте, сделали свое дело. Она была влюблена, насколько это вообще доступно рациональной американской душе. Сказать правду, и Виктору она не казалась

отвратительной. Он даже находил в ней нечто привлекательное и доброе. В любом случае, американский паспорт был решающим аргументом в споре между совестью и жизненной необходимостью. В один прекрасный день молодожены сели в самолет и улетели искать счастья в совместной жизни. Она – к себе домой, а он на чужбину, о которой только слышал и придумывал.

Сначала все было даже лучше, чем он себе представлял, – сыграли роль колбаса и небоскребы. Но потихоньку он привык и к тому и к другому, тоска заняла место сдержанных восторгов. Оказалось, что с женой говорить не очень-то есть о чем, все рассказы о прошлом когда-нибудь да заканчиваются. Надо было жить настоящим, а его как раз и не было. Быть страдающим русским в России было модно. Быть еще одним русским неудачником в Нью-Йорке – стыдно и скучно.

Пить было больше не интересно, говорить по-английски и работать – еще хуже. Они разошлись без русских сцен и надрывов. Он просто исчез к какому-то приятелю, такому же неудачнику, и через три месяца они с женой спокойно аннулировали брак.

Начинался этап номер три новой жизни, но как его начать, у Виктора не было ни малейшего представления.

Ему было себя безумно жаль. Он подумывал о самоубийстве, не всерьез, но лишь для того, чтобы распалить в себе еще большую жалость к своей же не сложившейся судьбе. Зашел в православную церковь, свечечку поставить и перекреститься широким знаменем – красиво и духовно. Поговорил

о чем-то с батюшкой. Батюшка тоже жаловался на жизнь и вовсе не казался героем веры. Ему нужен был какой-то то ли работник, то ли собеседник, а жить и есть – найдется при церкви. Виктор согласился еще прежде, чем ему предложили. Он перетасил две сумки с вещами в комнату, которую он для красоты назвал кельей, и начал жить, предварительно переименовав жизнь в послушание.

Как ни странно, жизнь при церкви ему нравилась. Дело было нехлопотное, и батюшка нетребователен. Виктор с удовольствием ходил на службу, стоял в сторонке и смотрел на лица людей и лики икон. Ему было интересно сравнивать и находить сходство. Пели, на удивление, хорошо. Запах стоял приятный и возвышенный. Свечи горели. Служение не оставляло вопросов. Все было расписано и надежно. Усталость от привычки принимать решения куда-то исчезла. Это было просто замечательно – знать, куда и насколько. Гениальность традиции в том, что она высвобождает место для духа. Это как казенная мебель, прибитая гвоздями к полу. Она может раздражать, но оторвать ее нельзя. Умный примирится и начнет думать. Глупый будет злиться и понатаскает новой мебели. Чтоб и эту прибить гвоздями. Или приклеить.

Виктор втянулся и стал читать. Немного из жития святых и немного из Библии. В церкви для русских русские были первым классом, и не надо было ничего доказывать. Чем больше он отгораживался от непонятного внешнего мира, тем более самодостаточным он сам себе казался. Жизнь стала обретать черты гармонии и преднамеренности. Он был уже почти счастлив. И решил стать монахом. Воображение радостно выпрямляло спину и склоняло голову. Вот так он и состарится – седой,

смиранный и не принятый миром. Мудрая улыбка и смиренный голос. Приобщится к таинству и сохранит тайну. Когда-то испрошенный смысл жизни вырисовался во вполне реальную картину и более не мешал жить.

Но было одно «но». При всей мистификации ортодоксального таинства, здесь все же присутствовали назойливые отблески некоего порядка. Чтобы стать монахом, надо было пройти определенные ступени посвящения. И пройти их в определенной последовательности. Голой духовностью тут не возьмешь. Она оказалась помещенной в тиски вполне земного канона и иерархии. Если бы не это, жизнь бы превратилась в сплошной свет умиротворенности.

С распорядком не складывалось. Начались конфликты. Сначала с начальством, а потом и со своей душой. Благо Виктор считал себя уже готовым духовно для монашеского подвига. Ну а так, чтобы делами – не очень.

Решение представилось достаточно скоро. К ним приехал паломник со Святой земли. И долго, то ли от восторга, то ли о зависти к обустроенному американскому житью, рассказывал о Иерусалиме, святынях, мощах, ярком солнце и близости Бога. Виктор – натура увлекающаяся, через неделю, одетый в рясу не по заслугам, уже проходил паспортный контроль в израильском аэропорту. Его здесь никто не ждал, да ему и не надо было. Он и его душа прибыли на Обетованную взирать и быть взираемым.

Прямо из аэропорта он поехал в пустыню и поселился в монастыре, прилепившемся к краю скалы полторы

тысячи лет назад. Прямо над входом, в пещере, зияло отверстие. Там когда-то жил Илия-пророк. И кормился от ворона. Теперь там поселился Виктор и кормился от четырех монахов. Когда халвой, а когда хлебом. Внизу росли пальмы и приходили попить чаю бедуины. Время замерло, и стало совсем хорошо.

А потом в пещере напротив нашли много оружия. Война есть война. И израильские власти потребовали у всех жителей окрестных пещер получить соответствующее разрешение на проживание в пещерах. Такое, конечно, возможно только в Израиле. Для Виктора, обретшего, наконец, покой и душевное равновесие, одна мысль о том, что придется стоять в очереди и заполнять заявление по поводу площади, на которой когда-то проживал Илья, была невыносимой. Он скинул свои пожитки этажом ниже, в монастырь, и отправился в Иерусалим искать все того же.

Там мы и встретили его. Пригласили домой. Наши соседи с удивлением рассматривали гостя в черном в жаркий день. В черном - не по-израильски-религиозном, а по христиански-чуждом. Но у всех религий много общего. И соседи смолчали.

А Виктор сначала понемногу, а потом больше стал рассказывать нам о своей жизни. Израиль он не любил. А евреев вообще... Он не стеснялся говорить об этом нам, считая, что любой верующий в Иисуса не может любить евреев. Да и евреями он нас не считал. Ибо твердо верил, что в Иисусе все стали эллинами. Или русскими. Не скажу, что это доставляло нам удовольствие, но общение по-русски компенсировало наше негодование. Мы были неустроены и вопросительны. Будущее представлялось нам весьма смутно. А живой и

реальный, с необычной судьбой Виктор сидел вот здесь, перед нами. Можно было попить чаю и даже попеть русских песен.

Как-то раз он собрался обратно в монастырь за почтой. Мы видели потом эти письма. Странно: на конверте – Виктору Л., Иерихон, монастырь святого Георгия, пещера Ильи, Израиль. Он зашел к нам совсем рано, мы погрузились в арабское такси и доехали до вади Кельт. Была весна, еще не очень жарко, голые холмы зеленели и красные цветы на них. Красные цветы на зеленой траве на красной земле. Мы шли одному ему известными тропами, в глубоких ущельях текла вода. Везде были камни и опасность сорваться в пропасть. Было безумно красиво и торжественно. Мы почти знали, что Бог где-то рядом. Почти физически. Сил было с избытком, словно тебя подключили. Впереди шел Виктор. Он, видимо, умышленно избирал самый опасный путь. Шел в лучах солнца по самой кромке. Справа пропасть. И слева то же самое. Под ноги он не смотрел. В какой-то момент на контражуре его голова осветилась нимбом. Я – человек не мистический – не то слово. Но и я не мог не почувствовать возвышенность происходящего: мы шли путем Иисуса и, вполне возможно, ступали с Ним след в след. Мы боялись спугнуть это ощущение близости с Господом и смотрели на Виктора, как на пришельца, с его черной рясой и посохом. Мир провалился в прошлое, и оно оказалось настоящим. Прошло 17 лет, но я все там же и мои ощущения все те же. Там я что-то понял. А что именно, узнаю Потом.

Мы подошли к монастырю. Поднялись наверх. За столом сидели два монаха-серба и пили чай. С халвой. На столе лежала русская газета «Наша

страна». А у стены лежал нарядно одетый труп. Ничем не закрытый. Оказалось, это местный святой. Его нашли, когда что-то копали. Положили как есть – и он лежит. Никаких тебе мумифицированных. Ни прочих снадобий. Попив чай, подивившись на святого и получив письма, мы распрощались и скоро пришли в Иерихон. Дорога на машине обратно в Иерусалим заняла полчаса.

Мы вернулись к ивриту и тому, что называется реальностью.

Хотя мне порой кажется, что реальность осталась там, на кромке пропасти и в беседе за чаем по соседству с мертвецом.

Виктор живет в Израиле. Долго пил. Потом женился. У него, кажется, есть дети. Работает художником.

Книга пророка Ионы 1

И было слово Господне к Ионе, сыну Амафичну:

встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедай в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.

И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море И утрашились корабельщики, и зывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

Сапфира

Она вышла замуж совсем молодой. Как и положено у евреев. Ее никто не спрашивал, нравится ли ей жених. Да и вообще, хочет ли она замуж. Слово родителей – не просто закон человеческий. Почитать их – заповедь Бога, дабы продлились дни жизни ее на земле. Всякий знает, что жизнь на этой земле не вечна, и продлить ее можно лишь в детях. Поэтому, самая первая заповедь – плодитесь и размножайтесь. Оттого и идем замуж – по слову Божью – дабы продлились дни ее на земле.

Ей повезло. Могло, конечно, быть и иначе. Но радость от того, что послушна родителям, удесятерилась тем, что у нее оказался прекрасный и заботливый муж. Правда, Анания был не очень молод и не так красив. Но все это – мелочи, по сравнению с домашним теплом и любовью, которой был напоен их дом.

Он ни в чем не отказывал молодой жене. Дела шли хорошо, и Сапфира стала привыкать к жизни, которой никогда не видела в доме у своего отца. Теперь не надо было все делать своими руками. Муж берег свою супругу и приобрел для хозяйства рабыню. Сначала Сапфира вздумала было ревновать, но быстро увидела, что все помыслы ее мужа были лишь о ней, застыдилась и успокоилась.

Иногда их навещали ее родители. Они приходили в субботу утром, благо жили совсем рядом, и все вместе шли в синагогу. Молиться Богу. Радостно приходиться пред Тобой Господи и благословлять Твое Имя. Ты столько сделал для меня! – так молилась Сапфира, стоя возле своей матери. Так же и о том же

молилась и ее мать. И вместе в страстном призыве к Всевышнему: ниспошли детей мне и моему мужу – это Сапфира. Дай мне увидеть внуков – ее мама. Семья была еще совсем молодой, и веры было хоть отбавляй. Ну не сегодня, так через месяц, но Господь обязательно пошлет детей.

Все так и случилось. Не сразу. Не через месяц. И даже не через год. Прошло семь сначала исполненных ожидания, а потом с нотками отчаяния лет, прежде чем Господь послал им сына. И, конечно же, он был самым красивым и замечательным ребенком. И даже послушным, что уже совсем большая редкость. Роды были тяжелыми, и принимавшая их соседка сказала, что на все воля Божья, но, по ее человеческому рассуждению, больше детей у Сапфиры быть не может. Воздай славу Творцу за чудо новой жизни, которое он произвел в твоей утробе. И прими как чудо. Ибо, если уж совсем честно, то я ума не приложу, как ты и этого родила.

Так или иначе, все было прекрасно и удивительно.

А однажды стало еще лучше. Был праздник пятидесятницы, и они пришли в Храм. Каждому еврею, где бы он ни был, Тора предписывает приходить, по крайней мере, три раза в год поклониться Творцу неба и земли. Сапфира с мужем делали это почти каждый день. Но этот праздник был особенным. Праздник дарования Торы, время первых плодов, сбор урожая, воспоминание о завете с народом Израиля. Накануне вечером дома они читали из книги Руфь – язычницы, ставшей частью Израиля и прабабкой Давида. В белых одеждах они отправились туда, где народ на разных языках и наречиях (там было множество евреев из всякого народа под солнцем) возносил восхваления к небу.

И случилось чудо. Откуда-то явились огненные языки, почили на людях, и каждый вдруг заговорил на языке, которого никогда не учил. Смятение переросло в радость лицезрения живого чуда. И Петр, один из учеников Иешуа, о котором говорили всякое, вышел вперед и призвал народ принять Мессию. Это было больше, чем гром с ясного неба. Это было новым небом и новой жизнью. Радость, которой нельзя было противостоять, повергла Сапфиру на колени. Она видела, как рядом, не скрывая слез, прославлял имя Господне и ее муж, Анания. Отныне их жизнь изменилась раз и навсегда. Отныне они принадлежали не только друг другу и сыну. Отныне в их жизнь вошел Сын Божий. И это был брак не по расчету. Это было единение по призванию. Один раз – и на всю жизнь.

Они возвращались домой к праздничному столу. Но сейчас все их внимание уже было не на сыре и фруктах, которые по традиции едят в этот день. Сегодня вечером они будут вспоминать о крови и теле Господа, докуда Он снова придет. За верующими в Него. Он – Иешуа – умер не за безликую массу, а за каждого в отдельности. А значит, и за нее, Сапфиру-грешницу. Воскреснув же, Он подарил ей надежду на вечную жизнь. А раз так, то годы ее продлятся теперь не только на земле, но и до пределов вечности, которой, как известно, пределов нет.

Внешне в их жизни мало что изменилось. Они так же ходили в синагогу и Храм. С таким же упоением читали из Торы и пророков. И подавали нищим уж никак не меньше. У них появились новые друзья. Теперь они называли друг друга братьями и сестрами. И это тоже было понятно. Ведь у них был один Отец, да и Спаситель называл себя их другом и

братом. А в семье, как в семье. Даже если не всегда рад и доволен, брат останется братом.

Господь продолжал благословлять их, и дела у Анании шли в гору. Они переехали в район получше, и у них появились новые соседи. Не лучше и не хуже прежних. Разве что побогаче. Они с любопытством смотрели на новичков и удивлялись их щедрости. А Сапфира и Анания ни в чем не отказывали просящим, но у них не убывало. Такова странная арифметика Царства Божьего. Чем больше даешь – тем больше получаешь. Даже если у тебя и остается меньше. Ведь человек находит удовлетворение не в том, сколько имеет, а в соответствии имеемого и желаемого. И только сын, первенец и наследник, пожалуй, не вписывался в то, что люди называют справедливым отношением. Да и какая может быть справедливость по отношению к тому, кто дороже жизни. Ему и прощалось многое, и на многое закрывали глаза. Любовь человеческая слепа. Ну если не совсем, то, по крайней мере, хорошо подслеповата.

Как-то раз левит Варнава, человек не бедный и преданный Господу, продал свое имение. Дело не редкое. Люди продают и покупают. И не для того, чтобы потерять. Варнава и раньше слыл чудаком. Ну а тут поразил всех. Даже братьев. И тех, что по плоти, и тех, что по духу. Взял и все принес апостолам. Ну ничего себе не оставил. Кто-то говорил, что мол, не последнее. Злые языки чего не скажут. А Варнава отдал все. И не сказал никому. Лишь Петр потом в беседе с женой упомянул о его поступке. Ну а если знают двое...

И тут началось... Что ни день, как кто-то новый повторял сделанное Варнавой. Делали с радостью. И не испытывали нужды ни в чем. Господь оставался

верен, и собрание верующих росло день ото дня, находясь в любви всего народа. Сила бескорыстного примера сильнее всяких слов. Годы спустя Иаков скажет, что вера без дел мертва. Да и вера ли она вообще? Люди не знают наших мыслей, но видят наши дела.

Анания пришел домой, как всегда, радостный в ожидании встречи с женой и сыном. Сегодня был очень удачный день. Во время молитвы Иоанн рассказал ему о том, как радостно принимают Господа жители Иерусалима. Одного этого хватило бы, чтобы наполнить вечер. Но в дополнение Анания заключил сегодня очень выгодную сделку, которая сулила совсем уж баснословную прибыль. Еще не получив денег, Анания шел домой и думал, сколько он сможет отдать на дело Господне. И радовался. Как редко кто в его возрасте и при его положении.

Обед был на столе. Сын ухожен и вежлив. Суббота вот-вот придет в дом, и время зажигать свечи. При появлении звезд на небе не принято говорить о делах, поэтому Анания почти скороговоркой поделился с женой сегодняшними приятностями и своими планами. Улыбка в ответ. И ничего другого он не ожидал. Поговорим на исходе субботы. И зажжем свечи: «Благословен Ты Господь, Царь Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший зажигать субботние свечи»... Мир и суббота твоему дому, Сапфира.

Суббота прошла как обычно. В молитвах и чтении. Наступил вечер. Мужчины ушли в синагогу и скоро вернулись. Анания обнял и благословил жену. Начиналась новая неделя. Уложив сына спать, они вышли во двор дома и принялись беседовать. Ты помнишь, о чем я сказал тебе вчера, Сапфира? Ну

как мне не помнить, я только об этом и думаю. Ведь Господь так благословляет нас, пора уже и нам сделать для него что-то. Да-да, Сапфира, я думаю, мы должны поступить так, как Варнава. Тем более что вчера я заключил выгодный контракт и скоро денег у нас будет больше, чем мы можем потратить. Это верно, Анания, но ведь ты еще не получил обещанного, разве хорошо отдавать Богу то, что тебе еще не принадлежит. Ты права, Сапфира, но разве мы не можем отдать Ему наше имение – ведь даже если мы заработаем не столько, на сколько рассчитываем, все равно до бедности нам ой как далеко. Кто я, чтобы сказать тебе нет, муж мой. Но если ты хочешь послушать свою жену, подумай о нашем сыне. Он еще мал и слаб. Мне не надо многого, но отдать все – значит, отобрать у него, а разве можно отдать то, что не принадлежит тебе? Не знаю, не знаю... хотя, кажется, у меня есть идея. Давай продадим имение и оставим часть сыну. Ну а спросят, за сколько продали, скажем дешевле, ведь это не нам, а сыну, и нет в этом греха. Я люблю тебя, Анания, за то, что ты есть и за твою мудрость. Сказала, но в душе что-то было не так. Пошла, помолилась, но легче не стало. Надо будет завтра рассказать об этом мужу.

А утром Анания, умывшись и произнеся молитву, побежал к соседу – тот давно спрашивал его об участке. Мир дому твоему! Мир и тебе, сосед. Что так рано? Ты еще не передумал купить у меня имение? Да нет, надумал-таки продать? Не просто надумал, а готов это сделать сейчас же, о цене договоримся. Не прошло и десяти минут, как ударили по рукам, и сосед сходил в тайную комнату за деньгами. Денег было много. Большая часть – в кожаном мешке. И еще в том, что поменьше. Вот забавно, подумал Анания, это, видать, Сам Господь разделил между тем, что

Себе и сыну моему. Он забежал домой, поцеловал спящую жену и сына, спрятал меньший из мешков и помчался к Петру.

Несмотря на ранний час, Петр и его друзья молились. Когда Анания ворвался в дом, воцарилась тишина. Анания, счастливый и довольный стоял на пороге и протягивал деньги: вот, возьмите, братья. Вам виднее, как поступить с ними. Ведь не зря же избрал вас Господь. Возьмите, здесь все, что получил... Слова почти застряли в горле, наткнувшись на холодный взгляд Петра. Лучше бы он этого не говорил. Или Петр знает... Но когда он успел? А может... Анания не успел додумать страшную мысль о том, что скрыть от Бога ничего невозможно. Сердце стало гаснуть в его груди, и уже откуда-то издалека он услышал слова приговора: «Ты солгал не людям, ты солгал Богу». А дальше уже не было ничего. Его жизнь оборвалась на полуслове, которое было полуправдой, а значит, ложью.

Сапфира бежала, ничего не видя перед собой. Она бежала к Петру. Вчерашний разговор не шел из головы. Она должна быть рядом с мужем, она должна поддержать его.

Вот и Петр. Петр, где он, где Анания? Но вместо ответа – так за сколько же вы продали имение? За столько и столько, какая разница, где мой муж Петр? В дверях показалась странная процессия, все отводили от Сапфиры глаза. Она поняла раньше, чем услышала. И уже уходя, как из сердца последней надеждой донеслось: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром».

Так ли это все было? Не знаю... Моя надежда умрет последней... Надеюсь.

Евангелие от Луки 23

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого.

Генрих

Он сын великого музыканта. Он внук великого музыканта. Он в родстве с великим поэтом. Он номенклатура. Он таким родился, и в этом нет ни его заслуг, ни наоборот.

Он рос и должен был быть лучшим. Не вторым и не непризнанным. У него просто не было выбора. Я на самом деле счастливый человек. Мой папа – торговый работник. И хотя мама постоянно мне намекала, что мне не достичь папиной предприимчивости, согласитесь, масштаб не тот. А значит, и комплексов поменьше.

Генриха рано засадили за инструмент. Иначе быть не могло. За него было предreshено многое, если не все. И, окажись на его месте кто-нибудь менее строптивый и более расчетливый (талант сидел у него в генах), – идти ему по уже протоптанной дорожке конкурсов, концертов и славы.

Так оно и выглядело. Сначала.

Сейчас трудно сказать, где он поскользнулся первый раз. И второй. И когда скользить стало привычнее, чем идти. Компания, тоже номенклатурная. Сливки общества. Несколько подкисшие. Но имена вполне славные.

Генрих стал пить. Хотя сказать «пить» – не сказать ничего. Он стал пить все подряд и с кем подряд. И даже сам. Генрих стал алкоголиком. Причем еще в достаточно юном возрасте. Дома страдали и уговаривали. Хотя к запоям привыкли. И среди старшего поколения это было не редкостью. Но

люди интеллигентные. Пили от избытка творческих сил. От перенапряжения и от многого такого, что делало этот порок романтичным и протестным. Диссидентствование было в моде. И на него при случае можно было списать все, что угодно. Высоцкий тоже был в моде. Это был образ, которому хотелось следовать даже ценой собственной жизни. Не говоря о карьере.

Жена у Генриха была – золото. Или это мне так кажется. Хотя, я думаю, и он того же мнения. Она видела в нем великого музыканта, коим он, наверное, и был. Не мне судить. Гениям прощают все или почти все. Она научилась этому. Не то чтобы с радостью, но иначе не могла и не хотела. Она совсем не была чеховской Душечкой. И любила в нем прежде всего его самого. Ведь за поступки принято в лучшем случае уважать. А любовь, хоть и светлое чувство, но дело весьма темное. Чужая душа – потемки.

А Генрих продолжал свои страдания-художества. Считал себя христианином самой что ни на есть высшей пробы, как и, собственно, во всем, что он делал. Или не делал. Под христианством он подразумевал, естественно, православие. А раз так, то и страдание, и непонятость. С пьянством он уже не боролся. Оно стало частью его самого. Если он не выпивал хотя бы бутылки спиртного в день (и это с четырнадцати-то лет!), его били припадками эпилепсии. По крайней мере, в этом можно было найти и оправдание. Если бы он в этом нуждался. Но Генрих всегда считал себя лучшим. Не просто многих других. А вообще – лучшим. Оправдание же необходимо лишь тем, кто сомневается. Не тот это был случай. Вместо этого была нелюбовь к миру и, наверное, даже к семье.

Водки было мало. И он взялся за наркотики. На настоящие денег не хватало. Вот и шли в ход всякие там таблетки и прочая дрянь. Водка нужна отчасти для общения. Таблетки были уходом от него. Теперь уже не просто мир был против него. Теперь он был против мира.

Пора было сводить счеты. И Генрих не преминул это сделать. Сначала он перерезал себе вены. На обеих руках. Не спрашивал, но думаю, что делал он это не раз. Я всегда считал, что самоубийца – это человек, который жалеет себя больше, чем близких. Да и сейчас так считаю. Генрих не то чтобы не жалел других. Может, он и жалел их настолько, чтобы освободить от себя. А может, все было с точностью до наоборот. Сейчас уже трудно восстановить, что же было последней каплей. Его периодически возвращали в этот мир. Через психиатрические лечебницы. Куда он теперь стал попадать очень часто. Жена вытаскивала его оттуда. Он возвращался, и все становилось, как было.

Память у него была феноменальной. Он помнил все, что читал (а читал он много). И всех, кого встречал. И еще он помнил всем и все. Не от злопамятности. А просто так был устроен. И когда наступала очередная депрессия, то все судьи и обвинители выстраивались как живые. Отвечать всем сразу было затруднительно. И он опять проваливался в пьянство и наркоту.

Его родные и близкие, люди интеллигентные, от него не отказались, но похоже поставили на нем крест. Жили, досадно и болезненно морщась. Но при этом его любили. Как могли. И насколько хватало сил. Да и жить приходилось вместе – при Советской власти жить отдельно было и не принято, и недешево. Ну

а раз вместе – значит, лучше привыкнуть. Себе же проще. Смотреть на эту доброту сил у Генриха не было. Доброта была упреком всему его существу. Уж лучше бы они кричали и ругались. Тогда можно было бы скатиться до той же непонятости. А когда не винят, приходится этим заниматься самому. И жить с этим не просто.

Генрих решил попрощаться в очередной раз. Но сейчас все должно было быть уже серьезнее. Так, чтобы не собрали и не зашили. Собираться с духом особенно не надо было. Это проблема для тех, кто ясно понимает и четко осознает. А у него – туман. Генрих стоял на балконе и глядел вниз. Земля было далеко, а значит, все была верно. Восьмой этаж – это уже не игрушки. Так играют только один раз в жизни. Первый и последний. Никаких особых чувств не было. Обида и злость – не в счет. Они были с ним всегда. Он перевернулся через перила и полетел навстречу своему и родных освобождению.

Летел он недолго, не больше мгновения. Люди в таких случаях говорят, что мгновения кажутся вечностью, но ничего такого не было – просто мгновение и издевательский удар в лицо.

...Как-то в школе у нас появился новенький мальчик – боксер. Нам было по двенадцать лет, и пора было выяснять отношения. Я ничего к нему не имел. И он ко мне тоже. Но разве это важно? С неандертальских времен (если они вообще когда-либо были) закон оставался неизменен. Прав сильный. Вот это нам и предстояло выяснить. Предлог для драки был неважен. Его можно будет найти потом. Как, собственно, и почти все в этом мире. Мы обменялись толчками, а потом он стал спокойно меня шлепать. Вот именно не бить, а шлепать. Открытой ладонью,

несильно и по лицу. Даже не пощечины, а так себе, оплеушки. И при этом сам спокойно уходил от моих рук. Мое лицо стало красным, наверное, все-таки больше от стыда, чем от прикосновений его рук, я уже ничего не видел перед собой, а он улыбался... и шлепал. И тут я стал плакать. Лучше бы он свалил меня кулаком или ногой в пах. Пусть больнее, но не так стыдно.

Веревки на седьмом этаже шлепнули так же предательски, но чтобы Генрих не захлебнулся от стыда, ему на помощь пришли уже вполне конкретные перила. Он сломал челюсть, но остался жив. Православный верующий Генрих не понял, что же все-таки случилось. Потому, наверное, что был больше православным, чем верующим. А окажись наоборот, может быть, увидел бы в этом руку Божью. Что бы там ни говорили, а Бог не хотел его смерти.

А потом началась перестройка. И толпы евреев и немцев потянулись кто в Израиль, а кто – в Германию. В его крови было намешано всякого. На какую-то то ли четверть, то ли восьмушку Генрих был немцем. И мог бы уехать в Германию, где к его алкоголизму отнеслись бы с пониманием. И он смог бы получить соответствующее пособие. Не зашикуешь, конечно, но и бедствовать бы не дали. Да и на водку бы хватило. Но сил идти в посольство не было. Стоять в очереди и, обливаясь потом, доказывать свое родство было выше его сил и желаний. На помощь пришла вся та же жена. Она не была немкой. Как раз наоборот – она была еврейкой. Так что вся работа с бумагами и свидетельствами легла на ее плечи. Надеялась ли она что-то поменять? Не думаю. Но хуже, чем было, быть не могло. Так Генрих стал обладателем израильской визы. В его глазах это было

отнюдь не самым счастливым лотерейным билетом, но выбирать не приходилось. Да и не хотелось. Они погрузились на самолет и прилетели в Тель-Авив.

Что радовало, так это цена на водку. Она оказалась вполне доступной. Жена, как всегда, бегала по инстанциям, а он лежал на диванчике, отлучаясь лишь на время – спуститься в магазин и купить выпить. Участковый и доктор из психушки больше не доставали – и на том спасибо. Страна – как страна. Живи, пока жив, а до большего дела нет.

Иврит давался тяжело. Это надо было жене – ведь она, тоже музыкант, искала учеников. С Генриха хватало и русских газет. Как-то среди почты, а может, и на улице, на глаза попало объявление. Евангельское собрание приглашало в гости. Генрих и раньше слышал о сектантах. Но, будучи либералом, плохо к ним не относился. Вернее, не относился к ним никак. Да и можно ли иначе относиться к тем, о ком ничего не знаешь. Жена подтолкнула, ну и пришли. Кто-то говорил о Библии и Господе. Ничего крамольного не было. Люди вокруг, даже в чем-то приятные и незлобивые. Выпить, правда, все равно, хотелось. Но не смертельно. А потом тот, который говорил, предложил помолиться. Здесь молились без крестных знамений и свечей. За упокой тоже вроде никто ставить не собирался. Все было буднично и по-человечески. По-доброму, что ли. На шее у Генриха, как всегда, висел крест. Вот только в душе еще ничего не было.

А потом над ним молились. Он не точно помнит те самые слова. И не так важно, что срывалось у него с губ. Важнее то, что шло от сердца. И то, что все это было услышано.

В ту ночь, впервые за пятнадцать лет, он спал без таблеток и кошмары не мучили. И был вечер, и было утро – день один. Не было больше зависимости от алкоголя. Не хотелось таблеток. Хотелось жить и учиться прощать. А может, все было не так идеально, но то, что по-новому – это точно. Он теперь не просто смотрел – он видел. И понимал.

Потом было всякое. И трудности и радости. И срывы и подъемы. Но уже никогда он не был тем старым. Ибо «старое прошло, теперь все новое».

Генрих живет в Самарии. Он – пастор, наверное, первого со времен Иисуса мессианского собрания на этой земле. У него двое детей – мальчик и девочка. И та же любящая жена.

Послание к Ефессянам 2

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,

в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,

между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желанья плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас,

и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, -

и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

не от дел, чтобы никто не хвалился.

ДЖОН

Сейчас у него другая фамилия. Говорят, что раньше, человеку, пережившему нечто особенное, меняли имя. Но в таком случае имя надо было поменять мне. Ибо после встречи с Джоном я многое уяснил и о себе, и о Боге.

В Израиле говорят на иврите. Жалко, конечно, что не по-русски. То есть по-русски тоже говорят. И все больше. И все-таки основным языком общения пока остается иврит. Опять же дети подрастают.

Когда мы приехали в Израиль жить, то опять пошли учиться. Садиться за парту в тридцать три года – занятие не самое приятное. Но вздрагивать на улице из-за смеха прохожих (а вдруг смеются над тобой?) – еще хуже. Словом, деваться некуда. И вот каждое утро, пешочком, чтобы сэкономить на автобусе, мы отправляемся на курсы иврита (по местному – ульпан).

Первый день в любом месте всегда самый занятный. Мы сидим и разглядываем друг друга. Мы – совершенно разные. Большинство из нас никогда не подружится друг с другом. Почти у всех свои семьи и куча забот. Все говорят на разных языках и жалостливо улыбаются. Нас объединило невежество и собственная несостоятельность. Общего у нас одно – мы все не знаем иврита.

Кунсткамера подобралась та еще. Вот Синдия, из Америки – она всегда держит свои длинные ноги на столе преподавательницы. И при этом ничуть не смущается. На то она и американка. А вот, не помню имени, в кепке, новый иммигрант из Ирака.

Он не один, а с дочерью, забитой и традиционно длинноюбочной. Ахмед – вообще не еврей. Он – из Восточного Иерусалима. Евреев он не любит, но в университете учиться хочет. Чета из Франции, клан из Бухары, еще одна шумная американка, преподавательница английского из Москвы, несколько киевлян, Ричард из Монреала, эфиоп из Аддис-Абебы, пара австралийцев, сонных, как коалы, гречанка Кассиани, мы с женой и... Джон. Зачем Господь собрал нас всех в одной комнате, да еще и на полгода, я когда-нибудь да узнаю. А пока что надо было налаживать отношения и учиться отличать «далет» от «реш». Учеба шла туго. Мне пришлось надеть очки, которые я не снимаю до сих пор. Но было весело и неожиданно.

Джон говорил по-английски и евреем не был. Он – из американской глубинки. И у него богатые родители. Израиль он любит с благоговением. Потом мы узнали, что это из-за Иисуса. Джон – не просто американец. Он – врач. Роста – под два метра. И красавец. Если есть у девушки мечта выйти замуж, то Джон – воплощение такой мечты. И не только американской. А еще он рисует и думает, что умеет петь. Делает он это старательно, и от этого еще невыносимее. Но в остальном – хорошо. Загляденье.

Мы закончили ульпан. Пути наших выпускников разошлись. Кто – на стройку, кто обратно в Австралию, а кто и на интифаду – иврит ведь человека не меняет. Мы перестали говорить только по-русски. И даже наши американцы усвоили слово «шалом». Джон был способным и общительным. Он работал на неотложке и во время войны в Персидском заливе опять вернулся в Израиль – помогать, если придется, тем, кто в этой помощи нуждается.

Он заходил к нам по старой памяти, и мы общались, как могли, благо общий язык мало-помалу влезал в наши уста и чужие уши. Джон был существом дивным даже для тех, кто видел виды и разумел в праведности. Первое, что он сделал – это сообщил нам о своей девственности. Джону было тогда под тридцать. Но не это главное. Поразительно было то, как он об этом сказал. В его словах не было ни смущения, ни извинительности, ни сального заискивания, ни желания поразить или, наоборот, обидеть. Он сделал это так же естественно, как если бы рассказал о том, что никогда не был в России. Мы с женой обомлели именно от интонации, хотя и содержание весьма впечатлило. Остаток дня мы казались себе грязными и безнадежными. Я не думаю, что это эффект, которого искал Джон, но именно так чувствовали себя рядом с ним его знакомые, пока не становились его друзьями. На этом этапе чистота Джона вместо ужаса по безнадежно загубленной собственной жизни начинала внушать надежду, что и ты так можешь, ибо Бог у нас тот же.

Джон жил анахоретом, но любил вкусно поесть, и потому стал заглядывать к нам чаще. Мы молились вместе. И о том, чтобы Бог послал ему жену. Джон смотрел на этот мир, как на очень временный, и постоянно рисовал нам схемы конца света, и где мы сейчас по отношению к этому концу. Я – человек верующий, но не то слово не мистик. К различным предсказаниям и прикидкам я отношусь сдержанно, даже если человек сведущ в Писании и выстроил нечто вполне разумное. Просто я о Боге гораздо более высокого мнения, чем обо всех теологах вместе взятых. В том числе и доморощенных.

Но праведность Джона была невыносимой, и

мы упорно продолжали искать хоть что-нибудь, напоминавшее нам о его человечьем, а не ангельском происхождении. Тщетно. Один раз я пытался выудить, есть ли у него враги. Джон долго думал, улыбался, что-то перебирал в памяти и, наконец, сказал, все так же улыбаясь, что не может вспомнить ни одного. Вот такой это был человек. А я к тому времени уже был взрослым и думал, что познал все в этой жизни. Или, по крайней мере, видел. Оказалось, что рядом с моим миром существовал еще один – параллельный. Мир, с которым я никогда не соприкасался. Он был не просто другим и затерянным. Он был совершенно чудесным. В нем происходили чудеса, и люди любили друг друга не из корысти. В этом мире можно было оставить на скамейке чемодан с деньгами и вернуться за ним через три дня. В этом мире люди верили друг другу на слово, а мужья не хотели изменять женам. И не изменяли. В этом мире, наконец, мужчины не стеснялись плакать, а женщины растить детей. Но самое удивительное, что этот мир был совершенно реальным и не за тридевять земель. Этот мир если и был сказкой, то настоящей и истинной. Джон был посланцем из этой сказки и с радостью рассказывал нам обо всех персонажах, населяющих эту волшебную страну. Я точно знаю, что после каждого такого вечера мы становились ближе к Богу. И мы благодарны за это Джону. И, конечно, Богу.

Джон был любимым и единственным сыном в своей семье. Папа владел рудниками и чем-то еще. Большой дом. Машины. Бассейн во дворе. «Макдональдс» за три мили. Ну и соседи – за две. Дома были лошади, и Джон любил ездить верхом. Родители ходили в церковь. Ничего особенного – здесь все по воскресеньям ходили в церковь.

Так было принято. В церкви встречались, слушали пастора, кивали головами и возвращались домой до следующего воскресенья. Маленькому городку не было дела до мира. Но миру, видать, было дело до маленького городка.

Неподалеку (миль за сто – американское недалёко) стали строить скоростное шоссе. Ходили слухи, что оно пройдет едва ли не через их городок. Наняли, как положено, адвокатов, написали петицию, выиграли дело, получили огромные компенсации, но пришлось многое поменять и поменяться. Дорога должна была проходить совсем рядом возле дома Джона. Для двенадцатилетнего мальчика все юридические договоры – не более чем уловка, чтобы лишить его прогулок верхом. Это несправедливо. А в жизни все решается весьма просто. Надо только очень захотеть. И, как говорят в церкви, помолиться – и все будет хорошо. Джон был уверен в своей правоте. Вечером, в своей комнате, он просил Бога о помощи и был уверен, что Бог услышал его молитву.

Когда стемнело, Джон вышел во двор. Весь день накануне на участке перед домом работали геодезисты. Они что-то мерили. И понаставили реек и планок. Джон сообразил, что дорога и эти планки как-то связаны. И если сломать деревяшки, то, глядишь, и дорогу, если не отменят, то отложат наверняка. Джон крушил налево и направо. Куда ни глянь, в лунном свете лежали обломки труда. Его и геодезистов. Джон был уверен, что Бог на его стороне, и особенно не беспокоился о том, что может произойти завтра.

А на завтра пришли рабочие и стали искать виновника погрома. Они заглянули и домой к Джону. Презумпция невиновности в Америке – не просто принцип. За

это перегрызут. У тебя есть право обманывать, пока тебе не доказали, что ты – лгун. Справедливость и невиновность для юриста – понятия иной раз прямо противоположные. Но здесь до суда не дошло. Покричали, поставили охрану, и на следующий день все стояло, как и должно было быть.

Дом, в конце концов, продали. Они переехали. А в тринадцать лет Джон поверил Богу. И «это вменилось ему в праведность». Джон перебрался в ту чудесную страну, о которой я уже говорил. Первым делом он принялся выметать сор из своей души. Был он молод. И, поработав молитвой и прощением, нашел для себя и гармонию, и радость. И лишь одна деталь омрачала его жизнь. Воспоминание о ночной вылазке не давало иной раз радоваться на полную. Вот как бы если есть машина и дорога. Гладкая и без подвохов. Но знаешь, что на каком-то там (а каком, не знаешь) километре есть яма. Вот такое вот чувство. Оно уходило, но возвращалось опять. Джон искренне каялся, но сделать-то что?

Он вырос, отправился учиться. И стал семейным врачом. Джон любил людей, и ему легко было утешать их и прописывать утешающие рецепты. Если человек болел раком, и шансов на излечение не было, то шанс на исцеление был всегда. И Джон молился о своих пациентах. Большинство из них так никогда об этом не узнали. Кто-то, потому что умер, а кто-то, потому что вылечился. И хотя Джон точно знал, что это никакие не таблетки, а Бог взял и исцелил, он молчал – врачебная этика того требовала.

Среди пациентов был один, который болел очень долго. И потому Джон молился о нем больше, чем о других. Помочь ему было ничем нельзя. По человеческому рассуждению. Джон был уверен, что

молитва веры поможет. Ему даже показалось, что он получил ответ от Бога. Но на следующий день пациент умер. И Джон решил уехать на неделю, чтобы побыть одному и подумать. А может, чтобы понять.

Для начала он попросил прощения о том, чего не помнит. И ему вдруг показалось, что он знает, в чем же тут дело. Устроенное им пятнадцать лет назад и почти забытое всплыло само собой разумеющейся причиной всех его немногих бед и угрызений. Джон засел за телефон. Ему предстояло отыскать компанию, строившую дорогу мимо его бывшего дома. Дело было несложное, но компания уже давно не существовала. Конечно, кое-какую информацию о ее владельцах можно было раздобыть, но это было весьма хлопотно и вряд ли вполне легально. Право на тайну информации о частной жизни почитается в Америке наряду с воскресными футбольными матчами и уверенностью, что весь остальной мир говорит только по-английски. Но Джон решил все же довести дело до конца. Вся история заняла не один месяц. Потом надо было искать человека, который руководил работой на том участке, и инженера-геодезиста, и наконец руководителя бригады. В довершение ко всему этот человек, как оказалось, переехал жить в другой конец Америки. Но значения это уже не имело. Джон долго объяснял ошалевшему бывшему бригадиру, а теперь преуспевающему бизнесмену, что он и есть тот мальчик, который много лет назад разрушил и поломал. И вот теперь он здесь, чтобы попросить прощения и заплатить за весь тот ущерб, который он нанес. Бригадир не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Он решил, что имеет дело с не вполне нормальным человеком. И в этом он был совсем недалек от истины. Конечно, со

своей точки зрения. А другой у него не было. Он все простил и денег не взял. Зато потом целую неделю рассказывал друзьям и сослуживцам о Джоне. А это дорогого стоит.

У вас в жизни, скорее всего, такой истории не случилось. Но, по крайней мере, и вы теперь можете рассказать о человеке по имени Джон. И, может быть, кому-нибудь это поможет.

Джон живет в Иерусалиме. Он сменил фамилию и женился. Первый и единственный ребенок, которым его жена была беременна, родился мертвым. Джон – врач, и он знает, что больше у них детей быть не может. И у него, как и когда-то, нет врагов.

Псалом 148. [Аллуция.]

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.

Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.

Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.

Да хвалят имя Господа, ибо Он [сказал, и они сделались,] повелел,
и сотворились;

поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет.

Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,

огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его,

горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры,

звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые,

цари земные и все народы, князья и все судьбы земные,

юноши и девицы, старцы и отроки

да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава
Его на земле и на небесах.

Лилия

Мой двоюродный брат Миша – человек не самый успешный в жизни, хотя и живет в Канаде. Он водит грузовик и женат третий раз. Эта цифра может сбить с толку. Но он не повеса. Даже религиозен. Только первая его жена умерла. Ну и не сложилось со второй.

Первую звали Лилия. Она играла на пианино и была порядочной еврейской девочкой из порядочной еврейской семьи. Мама ее – с заскоками. Но мой брат женился не на маме. И ради любимого человека можно попытаться не нелюбить и ее маму. Миша мог поладить с кем угодно. Скромный и тихий. Не выскочка. То ли по отсутствию выдающихся способностей, то ли характер такой. В их романе не было ничего искрящегося, но для счастья это необходимо лишь немногим. Да и то ненадолго. А на Мишу можно было положиться. Лилия играла роль жены с изюминкой, наверное, подсмотрела в каком-то фильме. И в их доме отвечала за культурную программу.

Сначала у Миши умер папа, совсем еще молодой, и мы похоронили его. А через год он с женой и своей мамой уехали в Канаду. Мама ненадолго пережила своего мужа. И Миша похоронил и ее, на этот раз уже в Канаде. Жил в русском районе, звезд с неба не хватал, но на жизнь не жаловался. Быть русским, хоть и евреем, было не очень престижно, и Миша увлекся религией. Еврейской религией. В его исполнении ее можно было бы назвать иудаизмом,

хотя иврита, языка Библии и синагоги Миша не знал.. Миша ходил на молитвы, когда позволяла работа, и соблюдал шабат. Ел чистую кошерную еду, и все об этом знали. Наконец-то он мог хоть что-нибудь прибавить к своей обыденности. Он не играл, а действительно верил, и это не могло не удивлять. Над ним посмеивалась сестра и соседи. Но Миша успел пережить в жизни и не такое. И регулярно ходил в синагогу. Поначалу его жена отнеслась к затее настороженно. Похоже, у нее хотели отобрать ту самую изюминку, хранительницей которой она верно была все эти годы. Но и ее увлекла его искренность. Она нашла, чем можно гордиться в муже, и с радостью окунулась в религиозность на русском языке.

Чем дальше, тем больше ей нравилась такая жизнь. Появилась расписанная определенность. Не надо было выдумывать, как выглядеть и что говорить. Не надо было больше суетиться модой и пытаться догонять других. Вера сделала их достаточными в том, что они имели, и безразличными к тому, чего у них не было. Им не удалось поменять мир вокруг себя, и они поступили умнее – поменяли себя внутри этого мира.

Сын ходил в религиозную школу, был умницей и сдержанно относился к сентенциям родителей. Но любил их и уважал, что уже совсем редкость.

В целом они были счастливой семьей. По крайней мере, если бы вы спросили у них об этом, они сказали бы да, и в этом не было бы лукавства.

Лиля заболела. Сначала это было что-то, от чего отмахиваются рукой, чтобы не думать о плохом и худшем. Одни врачи говорили, что ерунда. Другие смущенно пожимали плечами. Но пришел день, когда анализы уже не обманывали. Их уже нельзя было прочитать иначе. Диагноз – саркома. И жить оставалось немного. С этим смириться трудно, особенно если тебе нет еще и тридцати лет. Судорожные попытки найти понимание и надежду у врачей немедленно наткнулись на испытанное и безнадежное средство – облучение химиотерапией. Все врачи вполне уверенно обещали, что могут продлить мучения, но не более.

И тогда не от избытка веры, а от отчаяния (часто это почти одно и то же) Миша и Лиля с головой погрузились в то, что они называли верой. Раньше это было вроде отдохновения для души. Сейчас это стало их частью. А может и чем-то большим. Они окунулись в изучение традиций, истоков, Торы. Раввины в их доме стали привычными гостями, и их советы воспринимались теперь как рецепты на все случаи жизни. Опухоль росла, и Лиля говорила теперь с трудом. Но вопреки всем, даже самым радужным, прогнозам, не сулившим ей больше трех месяцев, она жила уже полгода. И год. И полтора. И замахнулась на чудо. О них стали говорить как о праведниках и приводить в пример того, что Всевышний, да будет благословенно Его Имя, может все. Если хочет. А хочет Он только, если просит его об этом праведник. Миша, кажется, и сам начинал верить в праведность свою и своей жены. Иной раз, он говорил нам, что люди называют его праведником. А от рассказов о том, что сказали о тебе другие, до веры в то, что они сказали правду, – уже один шаг.

Прошло два года. Лиле лучше не становилось. Но она все еще жила. В ее глазах, еще не потухших, оставалось немного места для радости и смирения. Хотя смирение легко спутать с обреченностью. И тут мы приехали навестить их. Мишина сестра предупредила нас перед этим, что шансов у Лили как не было, так и нет. Я очень не люблю приходить к умирающим. Долг – да. Но ведь должниками мы быть не любим. И я не исключение. Самое страшное, что надо улыбаться и делать вид, будто это не смерть тут рядом, а проблемка, которую решить, что плюнуть. Позвонили в дверь. И ждем.

Дверь открыл Миша. Обнялись и обменялись прозрачными фразами. Мы уже в разных весовых категориях. Мы здоровы, а они нет. Чувство вины у меня, и мученичества у него. Но надо было договариваться. Вошла Лиля. Пытающаяся улыбнуться. Во всю щеку огромная опухоль, которая не дает ни есть, ни пить, ни даже говорить. Мы говорим и улыбаемся. А она пишет и смотрит. Выпили воды и съели чего-то. Поговорили о будущем. Лиля ничего не отписала. Сидим и смотрим друг на друга.

Я стал говорить об Иисусе. Сначала как-то неуверенно, как бы извиняясь. Не за Иисуса. А за то, что я вот знаю, как поступить, а они нет. Если бы я мог пообещать им исцеление в обмен на веру, мне было бы легче. Но я ведь и сам не верю, что вера обязательно идет рука об руку со здоровьем. На то Он и Бог, чтобы решать. Они слушали. Миша время от времени вставлял несколько слов, пытаюсь объяснить, что я неправ и никакого Иисуса не существует. А даже если и был, то Мессией, и тем более Богом, он быть не может. И вообще, еврею даже говорить об этом не следует.

Лиля ничего сказать не могла. Но соглашалась кивком с мужем или отрицательно мотала головой, когда говорил я.

Минут через десять стало ясно, что уговорами здесь не поможешь. Нам было очень ее жаль, но сделать мы ничего не могли. Миша перевел разговор на другую тему, Лиля сходила на кухню и принесла печенье, которая она еще могла испечь. Мы надуманно радостно расхвалили и стали поглядывать на двери. Было тягостно, когда сказано все и выхода нет.

Мы стали прощаться. Несколько раз в жизни мне уже приходилось говорить «до свидания», точно зная, что это «прощай». Вести себя при этом я так и не научился. Да и как можно. Я обнял Лилю, стараясь держаться подальше от огромной опухоли, и спросил, можно ли мне о ней, по крайней мере, молиться. Она посмотрела на меня и, выйдя на секунду, вернулась с листом бумаги и карандашом. «Богу – да, Иисусу – нет». Ну и все.

Она умерла через две недели. И у нее еще было время подумать.

Псалом 2

Зачем мнутся народы, и племена замышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его.

"Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их".

Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.

Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:

"Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею*;

возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;

проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;

Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника".

Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!

Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.

Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.

Любовь первая

Мне было пять лет. Жизнь представлялась парком, то летним, то зимним. Это было главным нашим развлечением, если не считать ежегодных поездок летом на море. Бабушка тогда была жива, и мы ходили собирать каштаны. Я – еще мал и немощен – поэтому лишь подбирал их. Или пытался сбить с дерева. И отдавал нести бабушке. К концу такой прогулки сумка уже весила килограммов пять или больше. И мы шли домой. А наутро каштаны начинали морщиться и блекнуть. Их уже неинтересно было катать в руках. Мама выбрасывала их, и мы бабушкой опять отправлялись в парк.

Ближе к декабрю или к новому году выпадал снег. Сначала он сменялся грязью. И мы все спрашивали родителей, выпал ли он насовсем. После двух-трех снегопадов дело было решенным, и парк заваливало снегом и запахом, которого уже никогда не будет в моей жизни. Когда я думаю о детстве, то первое – это снег. Может, поэтому я до сих пор ищу его, где бы ни был. И, может быть, старею, потому что нигде не могу найти. Если вы не находите детства, значит, старость находит вас.

Но в те далекие цигейковых шубок зимы это не имело значения. Главное, был бы снег, санки и кто-нибудь из взрослых, кто сдастся моим занудным просьбам.

Темнело рано, и зажигались фонари. Не все, конечно, а только те, что были целы. Но было светло, в самый

раз, чтобы видеть и ужасаться таинственности. Мы катались уже часа полтора, и мама стала подмерзать. Санки были на металлических полозьях. Конец полоза я где-то сплющил, и их все время заносило вправо. Но на льду это было не важно. Я был мокрый и красный. И мама радовалась, что ребенок на свежем воздухе.

На этот раз в парке мы были с соседским мальчиком, Стасиком. Стасик был на два года старше меня, и я ему завидовал, что он уже взрослый. (Стасик умер лет пять назад, и я не завидовал ему.) Санки у нас – одни на двоих, и мы договорились кататься по очереди. Вернее, это моя мама так сказала, когда увидела, что взрослый Стасик совсем не собирается делиться санками со мной. Стасик все равно хитрил. Он спускался с горы, но поднимался до половины и спускался снова, а я с нетерпением ждал наверху. Потом кому-то из нас пришла блестящая идея кататься вдвоем – места на санках хватало, появилась даже интрига – можно было спихивать с санок друг друга. Снег залез во все мыслимые щели моих бурок. Но уйти отсюда не было сил. Мама же пока не сильно напирала.

И тут я увидел ее. Снег застыл в воздухе и так и стоял, подставляясь фонарям. Дышать я перестал или нет – не помню, но раз так описывают, значит, так оно и есть. Кудряшки выбивались из-под шапки, глаза блестели, остальное не помню. Я бы никогда уже не узнал ее, но она была эталоном красоты и таковой осталась. Глупость, конечно, как может быть эталоном то, чего не помнишь. Но ведь все наши настоящие эталоны так глубоко, что докопаться до них нет никакой возможности. А между тем, мы

настоящие – это как раз они, а не декларируемая нами же ежедневно чепуха. Ее красота вошла в мою жизнь и так там и осталась. Все мои остальные любви, наверное, были похожи на ту, самую первую. Так я думаю. А может, это и есть моя жена, которая просто не помнит этой встречи?

Стасик куда-то уехал на санках. И возлюбленная моя спускалась с горы. Я бежал за ее санками и ревел, умоляя остановиться. Она остановилась лишь в самом низу – и смотрела на меня. Я подбежал и сказал, что люблю ее, – это было совершенной правдой. Все остальные чувства в своей жизни я сверял с этим, и если не сходилось – не называл это любовью. Она рассмеялась радостно и протянула мне руку. Так мы шли вверх и подошли к ее маме. Он говорит, что любит меня, сказала девочка, а мама сказала что-то вроде угу, и сердце у меня оборвалось. Оставалась еще надежда идти к моей маме – она стояла совсем рядом и наблюдала за нами. Мама, я люблю эту девочку. Это хорошо, но пора идти домой. Все было кончено, и рядом орал Стасик, разбивший себе лицо и угробивший мои санки.

Я уже никогда не был таким, как до этой встречи. Я узнал, что такое любовь. И стараюсь не забывать.

Бытие 2.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их...

... И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.

И был вечер, и было утро, день шестой.

Любовь последняя

Я знаю, что этот заголовок звучит, как клятва. Или эпитафия. Но рискну все же настоять. Сколько бы там ни осталось.

Моя жена сюрпризов не любит. Наверное, потому что большинство сюрпризов в ее жизни добра не предвещали и не приносили. Перемены почти всегда к худшему. В этом даже я с ней согласен. Исключения можно посчитать на пальцах. Три к одному. Мы и в Израиль в свое время уехали не только из патриотизма, сколько из поисков скуки. Помню жену, поднявшую глаза к потолку и попросившую тогда еще неведомо кого: хочу скучной жизни – это после неделю подряд визитов в два ночи друзей веселых. Отсутствие перемен требует большой перемены. И мы уехали. Ну а вообще-то – лучше без сюрпризов.

Но иногда без неожиданностей нельзя. Точнее, неожиданность перестает быть таковой, если без нее не обойтись. Она начинается как ощущение. Потом переходит в чувство необходимости. Затем оттесняет все «против» и квалифицируется из безумной в стоящую. И только потом реализуется с десятипроцентной точностью, и это, если повезет.

Шансов воплотить мой «сюрприз» у меня было немного. У играющего в лотерею их больше. Но сама моя жизнь была настолько ненормальной, что ничего

ненормального в том, что хотелось, я не видел. Я жил в Дюдьково. Одно это название уже должно вызвать удивление. Что еврей может делать в Дюдьково? Ну там Москва, Одесса, Бобруйск наконец. Но Дюдьково? Заметьте, никто даже не спрашивает, где это может быть. Ясно, что ничего хорошего. Дюдьково – это Ярославская область и какой-то там район. На полке единственного продмага одеколон выставлен в отделе спиртных напитков, и два раза в месяц, в получку и аванс, завозят клей. Дорог нет, а зимой снега метра на полтора вверх по обе стороны тропки между общежитием и большой дорогой. И минус тридцать. С ветром. Посреди недели я работаю на бетонном заводе, вернее, на заводе, где делают бетонные плиты. А в выходные – не делаю ничего. Ну вообще ничего. А что еще здесь делать? Я здесь не по своей воле. А точнее, именно в отсутствии воли или свободы как таковой. Я живу в колонии-поселении, и мне запрещено отсюда выезжать.

Запрет служит лишь дополнительным раздражителем и воспринимается как досадное недоразумение. У моей невесты скоро день рождения. Условия задачи просты до оупения. До Ярославля сто пятьдесят километров. От Ярославля до Москвы еще триста. От Москвы до Львова – полторы тысячи, или два часа лету плюс добраться до аэропорта, плюс найти билет, плюс летная погода. Времени на все, чтобы туда и обратно – сутки: от воскресного утра до выхода в понедельник на работу. Ответ весьма прост – задача не решается. Теоретически все, что угодно. Практически – никак.

Естественно, что никакие доводы не работают. И угроза наказания тоже. Чем меньше времени

остается до побега, тем яснее, что я от него не откажусь. Разум постепенно отключается, остается азарт и ожидание. Денег особенно нету – как раз впритык и еще немного переплатить – мы все еще живем при Советской власти. Документов нет. Своих. Но есть припасенный не свой паспорт. Выгляжу я прилично, так от нечего делать вряд ли кто начнет спрашивать. А на фотокарточках все одинаковы. Особенно на морозе.

В тот день начинал дежурство лейтенант Лапчук. Под конец суточного сидения на своем посту встать он уже будет не в состоянии. Это знают все, включая начальство. Но в выходные никто дежурить не хочет, а Лапчуку все равно, где пить. Одной проблемой меньше – если вернуться за два часа до подъема, можно спокойно зайти и при желании вынести с КПП самого Лапчука. Но до этого надо еще дожить. Тимофей, на соседней кровати, двухметровый хулиган из Ленинграда, вызвался помочь на выходе. А о большем думать не надо, ведь очень хочется на день рождения попасть. Сюрприз.

В шесть утра в воскресенье Тимофей заходит на вахту и начинает врать заступившему Лапчуку о том, что в соседней комнате кто-то посторонний. Лапчуку лень вставать с места, но он пока еще при памяти, и Тимофей ведет его на второй этаж. Я выскакиваю в неконтролируемое больше никем пространство и бегу в полной темноте к большой дороге. С вечера снега не было, но хватило и того, что накануне. Мороз, правда, отпустил, но ветер нет. Тихо. Свобода. До дороги километра полтора, но по снегу – все три

– здесь он только тает по весне, а убирать – никто не убирает. Через минут двадцать я уже на дороге. Здесь можно простоять немерено. Попутки в воскресенье в шесть утра – вещь редкая. Надеяться на такое может лишь воспаленное воображение, толкаемое гусарством. Смотрю на себя со стороны – полный идиотизм, но дороги назад нет. Вперед, правда, пока тоже. Если бы я умел или хотел молиться, то, конечно же, не преминул. Но сейчас моя воля просто материализовалась в идущую в мою сторону машину. Я махнул рукой, ничуть не сомневаясь, что она остановится. И она остановилась. В кабине было тепло и пахло перегаром. Водитель ничего не спросил. Через тридцать километров я сказал, что мне надо в Ярославль. Он ничего не ответил. И первый раз обратился ко мне часа через два, сказав, что в Ярославль не едет, но довезет до развилки, а там уже и близко, и просто. Огорчаться не было ни времени, ни смысла. Я сошел и в придорожной столовой выпил грязного цвета кофе с молоком. И было почти девять.

Дальнобойщики ездят по двое. И подолгу. Они не мелочатся мелким захолустьем, и мне повезло. Я залез в машину, которая ехала в Москву. Это сэкономило время – дальнобойщики дорогу не уступали никому – и нервы на поиски билета на вокзале. Кроме того, лишний раз появляться в месте, которое кишело милицией, мне резона никакого не было. Тогда – это не сейчас. И русские дороги – не Израиль. Но зато не было пробок и часа пик. Аэропорт Внуково (дополнительные десять рублей) был по-зимнему пуст и пугающе неработающ. Билетов в кассах полно – три четверти рейсов все равно были отложены. Зеленый огонек на Киев. Но мне надо не туда, хотя от Киева до Львова уже ближе. Прямой рейс на Львов

уже был отложен до пяти вечера, но шансов, что не отложат до десяти, было немного. А мне нужно было решать уже – с проблемами через Киев или на Львов без проблем, но возможно и без самого Львова. Я пошел к кассе и показал паспорт. Кассирша вообще в мою сторону не смотрела и выписала билет на Львов. Я сел и стал ждать. В три тридцать – никакого движения. То же и в четыре. А самолет на Киев уже улетел. Заработала логика утешения. Она объяснила, что раз летают в сторону Киева, то и на Львов должны. В четыре тридцать нас погнали в самолет, и спустя десять минут, миновав милиционеров, честно и невнимательно проверивших мои документы, я уже сидел в самолете. Вот теперь уже от меня не зависело ничего. Впереди было два часа радостного ожидания без единой мысли о том, что же будет потом. Самолет немного задержался на старте, но в целом обошлось. И в половине восьмого я уже ехал на такси в мастерскую к невесте. Она – художник, и все наши и чужие праздники мы встречали в ее мастерской.

В окнах было темно. До эры мобильных телефонов еще было далеко. А на улице слякоть: Львов – это не Дюдьково. Я надеялся, что она вот-вот придет. Но бесценное время, вырванное у Лапчука, попуток и самолета таяло совершенно бездарно. Скользнула опасная мысль - не возвращаться. Но отбежала. По дороге шла Наташа с подругой. Торопиться им было некуда – про сюрприз знал лишь я. Она сначала обрадовалась, потом испугалась, потом обрадовалась снова – Тебя освободили? – и снова огорчилась. Я был счастлив. Наверное, она тоже. Стали приходить гости. Все дивились, на меня глядячи. А мне надо было собираться в обратный путь.

Мы едем в такси в аэропорт. У таксиста какая-то музыка в такт нашему вполне опереточному сюжету. Кажется, Розенбаум. Мы сидим молча и улыбаемся. Я – как когда-то на санках в парке. То была любовь первая. Здесь – последняя. Но та же.

Обратный путь был не длиннее, но спокойнее. Сейчас уже ничего значения не имело. Дорога сюда была жизнью, а обратно – всего лишь игра. Ничего уже случиться не могло. Не должно было. В аэропорту билетов не было, но это был Львов, и я вспомнил чье-то имя, сказал многозначительную фразу и добавил к билету денег. Билет нашелся тут же, и самолет взлетел через час. Из Внуково – на Ярославский вокзал. В Ярославле я оказался к пяти утра. И, не секунды не сомневаясь, что успею, сразу же поймал машину в неродное Дюдьково.

Я все равно опоздал, но совсем ненамного. На полчаса или вроде этого. Лапчука уже сменили. Тимофей наврал, что я вышел на работу раньше обычного. Так что все обошлось.

Я пишу это двадцать лет спустя. Я женат на Наташе.

Наташа

У меня есть жена.

Она – самая красивая, добрая, умная, нежная, терпеливая, терпимая, несдержанная, талантливая, чистая, искренняя, страстная, улыбчивая, грустная, единственная, беспокойная, суетливая, рассудительная, изобретательная, открытая, консервативная, радостная, преданная, самоотверженная, гостеприимная, скромная, модная, понимающая, любвеобильная, сострадающая, депрессивная, оптимистичная, надеющаяся, прощающая, незлобивая, гениальная, мудрая, немногословная, обаятельная, милая, стройная, смелая, честная, взрослая, наивная, не сомневающаяся, беспристрастная, справедливая, работающая, трогательная, снисходительная, застенчивая, мечтательная, решительная, слабая, робкая, компанейская, вкусно готовящая, покорная, непримиримая, недоступная, холодная, разная, смеющаяся, плачущая, беспечная, благородная, аккуратная, непунктуальная, обворожительная, слушающая, наказывающая, непьющая, поющая, опекающая, доверяющая, верующая, веселая, противоречивая, смиренная, сожалеющая, любящая и любимая.

Она – живая и настоящая.

Песнь Песней 6:4-10

Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами.

Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.

Волосы твои — как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои — как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;

как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими.

Есть шестьдесят царц и восемьдесят наложниц и девиц без числа,

но единственная — она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и — превознесли ее, царицы и наложницы, и — восхвалили ее.

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?

Песнь Песней 4:16

Поднимись, ветер, с севера и принеси с юга, повей на сад мой,
– и польются ароматы его! – Пусть придет возлюбленный мой в
сад свой и вкушает сладкие плоды его.



Слушать аудиокнигу “Диалоги с Богом”, вы можете
на сайте Радио ЭльХай el-hi.com

